

ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

Куртис Кейт



АНТУАН
ДЕ СЕНТ-
ЭКЗЮПЕРИ

■
*Небесная птица
с земной судьбой*



Куртис Кейт

**Антуан де Сент-Экзюпери.
Небесная птица с земной судьбой**

«Центрполиграф»

Кейт К.

Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой /
К. Кейт — «Центрполиграф»,

Антуан де Сент-Экзюпери, философ и математик, инженер и авиатор, поэт и воин, предстает в увлекательном жизнеописании Куртиса Кейта во всем блеске и разнообразии талантов. Автор не в ущерб захватывающему изложению, придерживаясь фактической точности, открывает новые черты в устоявшемся каноническом образе легендарного писателя. В повествование вплетен удивительно тонкий анализ произведений Антуана де Сент-Экзюпери, приводятся личные свидетельства, модные сплетни и легенды.

© Кейт К.

© Центрполиграф

Содержание

Вступление	5
Глава 1	8
Глава 2	21
Глава 3	43
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Куртис Кейт

Антуан де Сент-Экзюпери.

Небесная птица с земной судьбой

Вступление

Биография – почти всегда опасная затея, когда дело касается того, кто умер не больше пятидесяти лет назад. Но поколения, увы, тают, и люди с годами не молодеют. Мне хочется вспомнить Сент-Экзюпери. Хотя он умер в 1944 году, пройдут годы, а скорее десятилетия, прежде чем многие письма, написанные им близким, еще живущим среди нас или уже умершим, будут изданы. Но намного раньше почти всех, кто знал его при жизни, уже не будет рядом с нами, и они не смогут поделиться своими воспоминаниями. Выходит, риск подобного начинания с самого начала оправдан целью этой своего рода спасательной операции по сохранению дорогих воспоминаний.

Мне не посчастливилось лично знать Антуана де Сент-Экзюпери. Когда он был в Нью-Йорке в 1942 году, я только поступил в Гарвард, в последующие годы войны он попал на север Африки, я же был отправлен в Англию в составе подразделений армии США. Поэтому эта книга не работа «свидетеля» – это работа историка. Историка, который стремился заполнить пробелы биографии Антуана (о нем написано немного по-английски и очень много по-французски), расширив представление о нем в различные периоды его жизни через восприятие его современников, родственников и сослуживцев.

С одной стороны, я полагаю, что большинство из них немедленно согласилось бы: Сент-Экзюпери – индивидуальность, поскольку был писателем. Нет ничего труднее для приговоренного писать из «вторых рук», чем передать обаяние конкретного человека, особенно если тот действительно обладал способностью буквально околдовывать людей. Фокусник, чьи натруженные руки землепашца могли выполнять карточные фокусы на одном уровне с великим Гудини. Андре Моруа когда-то сравнил мастерство Антуана-рассказчика с Шахерезадой из сказки. Джон Филлипс, работавший фоторепортером «Лайф», называл его Пикко делле Мирандола XX столетия. Другие уподобили его Леонардо да Винчи или человеком времен Ренессанса, всепоглощающе любопытным, если не всезнающим.

– Сент-Экс? – однажды переспросил меня генерал Рене Буска и протянул мне карикатуру, на которой «Пепино» нарисовал себя. «*Mais il savait tout faire*», – не было ничего, что он не умел бы делать. Один из его самых близких друзей, доктор Жорж Пелисье, захотев воздать ему должное после смерти, не смог найти ничего лучше, чем пятигранник, «Пять ликов Сент-Экзюпери», или пять аспектов его индивидуальности: Сент-Экс – летчик, Сент-Экс – писатель, Сент-Экс – человек, Сент-Экс – изобретатель и Сент-Экс – фокусник. Список мог бы быть расширен, и Пелисье мог столь же оправданно назвать свою книгу «Семь ликов Сент-Экзюпери», добавив Сент-Экса – юмориста и Сент-Экса – мыслителя. Да, это все о нем, «читал немного, но знал и понимал все» (цитируя Пелисье), был мыслителем в самом глубоком понимании этого слова и использовал карточные фокусы, словесные загадки, шахматные игры и комические рисунки, чтобы маскировать самые глубокие переживания.

Обладавший столькими талантами, проживший насыщенную приключениями жизнь, этот пионер неба превратился в легенду. В его собственной стране католики и другие конфессионеры в поиске «героя своего времени» поддались соблазну подчеркивать «Сент» в его имени и возводить его на пьедестал. Обстоятельства его жизни не всегда соответствовали

этому возвеличиванию, но его творения – да. Так или иначе, но Сент-Экзюпери нужно в конечном счете оценивать в связи с написанным.

Не нужно читать Данте, не говоря уже о Жиде, Франсуа Мориаке или Грэме Грине, чтобы понимать – добродетель изначально несет в себе меньше интереса, чем порок, и это почти всегда так. И в этом – скрытое предупреждение, но Сент-Экзюпери, и это так характерно для него, пренебрег постулатом. Не желая быть втянутым в эти споры, он посвятил все свое творчество изучению таких основных человеческих достоинств, как храбрость, решительность, настойчивость, ответственность, великодушие, самопожертвование, лояльность и любовь. И это в век всеобщего неверия! Ему грозило полное неприятие, особенно со стороны нового поколения субсартрианских последователей Декарта, которые, независимо от своих возможностей, стремились к главному – не дать себя одурачить добрыми намерениями. «Сент-Экс? Да это скаутское движение!» – выкрикнул несдержанный молодой парижанин мне в лицо не так давно. Французский Киплинг, почти Баден-Пауэл, написавший полдюжины книг, и все на тему «Если». Жан-Франсуа Ревель насмеялся над его «банальностью, управляемой задницей», и назвал его «человеком-кукушкой, заменившим человеческий мозг двигателем от самолета». Жан Кау, этот энфант терибле (ужасный ребенок) французской журналистики, отрицал его работы как «большой обман наших времен», «героико-гуманистические безделушки, венки пустых идей, достигший высшей точки во вполне сентиментальном идеализме». Жорж Фрадьё, писавший в «Фигаро литерер», вынужден был признать, что не выносит маленьких принцев: «Принцев вообще. Но прежде всего, маленьких принцев, с их белокурыми завитками. Их голоса, звучащие наподобие флейты, их очаровательные капризы, их учтивые вздохи и их красивые смерти». Другой критик, Жан-Луи Бори, даже поднял вопрос: «Может ли читатель спасти Сент-Экзюпери от Сент-Экса?» Его главный тезис состоял в том, что стало культом «это божество в синей униформе, чье имя было сокращено для удобства ежедневного употребления... Этот увлеченный профиль сделан для ханжеских медальонов, подобных тем, которые соответствующие молодые люди добропорядочной католической буржуазии носят на груди у основания шеи».

Цель этой книги – вовсе не намерение ответить на все приведенные обвинения, которые в действительности открывают нам скорее их авторов, а не Сент-Экса. Но его работы двадцать пять лет спустя после его исчезновения (где-нибудь между Корсикой и Альпами в июле 1944 года) продолжают пробуждать горячие споры, – и это неоспоримый факт, свидетельствующий о их сильном воздействии. Ведь только «мертвые» книги не порождают никаких дебатов. Это – также дань его многосторонней индивидуальности, которая последовательно расстраивала тех, кто любит присваивать себе право классифицировать людей в опрятных коллекционных ящичках, например «правом» или «левом», «архиреакционеров» или «подлинных революционеров».

Рожденный в знатном и благородном семействе, имеющем привилегированный доступ к дворцовой жизни с начала XX столетия, Сент-Экзюпери был одним из тех благословенных «детей богов», как их любил называть Томас Манн. Но его героями не стали такие героически проверенные образцы, как Гете или Толстой, – ими стали Достоевский и Ницше, «дети ночи». Это был один из многих парадоксов, отличающих этот парадоксальный мир. Антуан был человек действия, ненавидевший упорные упражнения, поэт, преднамеренно отвернувшийся от рифмы и ограничивший себя прозой. Он обладал незаурядным математическим талантом, но осуждал культ математики, атеистом, отчаянно желавшим верить в Бога. В своих действиях он совершеннее Жан-Поля Сартра, но слово «участвует» встречается только дважды, или, возможно, трижды во всех его письмах. Он стал одним из великих французских стилистов XX столетия, но не был и не желал быть профессиональным писателем. Это, конечно, было и остается непростительным оскорблением тем «субинтеллектуалам» (как нравилось называть эту категорию литераторов Юджину Ионеску). Они инстинктивно распознают в нем то, что тер-

петь не могут: вторжение одаренного постороннего, чья жизнь (так уж получилось) была – какое оскорбление! о, какой позор! – намного ярче, чем их собственная. Как написал Жильбер Кесброн по поводу этих хулителей: «Сент-Экзюпери, как вы знаете, был по специальности летчик, и больше ничего. Почему же тогда он связал свою жизнь с писательством? Он не понимал, что это – территория, охраняемая теми, кого она кормит, для тех кальмаров, присосавшихся к скале, имеющих только чернила, чтобы защитить свое завистливое и ядовитое племя, и на чьей территории столь неблагоприятно рисковать. Их священный шестиугольник обозначен Галлимаром – «Экспресс», «Нувель обсерватор», ресторан «Липп» и кафе «Флор». Это – их джунгли и их рай: «Планета людей пишущих».

Ну, почти как китайские мандарины, они хотели бы отлучить Сент-Экзюпери, называя его второразрядным автором «нечитабельных книг». Но не столь разборчивая читающая публика, и во Франции и за границей, признала его как одного из великих авторов. Никто – ни Марсель Пруст, ни Луи-Фердинанд Целин, ни Андре Жид, ни любой другой из восьми французов, награжденных Нобелевской премией за литературу в XX столетии, за единственным исключением Альберта Камю, – не превзошел летчика по продаже книг за границей. Во Франции его успех был еще необычайнее. Согласно списку бестселлеров, составленному энциклопедией «Кид», Сент-Экзюпери – единственный французский автор прошлого столетия, чьи три книги вошли в первую десятку («Ночной полет» – на четвертом месте, «Планета людей» – на восьмом, «Маленький принц» – на девятом).

Печально известно, что популярность – штука переменчивая, но кажется маловероятным, будто некая новая мода или «волна» способна изменить позиции Сент-Экзюпери, занятые им во французской классике. Его популярность за пределами Франции еще выше, в отличие от Сартра, Мальро или Камю, поскольку он писал в лирическом и поэтическом стиле, привлекающем лучших переводчиков. Трудности возникали с англосаксонскими читателями, болезненно относящимися ко всему новому, что приходит из Франции.

«Для нас не важно, была ли книга написана в библиотеке или доме, пользующемся дурной славой, но мы не хотели бы, чтобы она исходила от группы бесплодных поэтов, кто никогда не жил действительно стоящей жизнью». Ричард Олдингтон написал эти слова более двадцати лет назад, в то время когда Жан-Поль Сартр и Поль Валери могли рассчитывать только на внимание горстки американских интеллектуалов. Но «Ветер, песок и звезды» и «Полет на Аррас» читались в это же время сотнями тысяч. «Как все мы знаем, Сент-Экзюпери – пионер героических дней первопроходцев-авиаторов ныне уже отдаленной и легендарной эпохи. В этом и скрыта опасность. Есть много книг по авиации, написанных летчиками, часть из них хорошая, но большинство – посредственные изделия оплаченных бумагомарателей, эдакого пролетариата популярной литературы. Я чувствую, что мы должны назвать Сент-Экзюпери среди самых великолепных писателей, но не только потому, что он передал нам собственный опыт с такой преданностью, опуская при этом даже самые допустимые технические подробности, но и потому, что его моральные и интеллектуальные цели наделяли смыслом и достоинством его действия. В этом – различие между авантюристом и героем».

Олдингтон, по общему признанию, умел размахивать топором, круша все налево и направо, как он и продемонстрировал позже в своей книге о Т.Е. Лорансе. Но его мнение, которое мы здесь привели, существенно. Я оставляю за читателем право самому решать, каким был Сент-Экзюпери, но в одном уверен: он был много больше, чем просто авантюрист.

Куртис Кейт

Глава 1

Липы Сен-Мориса

Внутри кабины – невыносимая жара. Но это обязательно каждый раз перед вылетом. Такая работа хороша для зимы, но совсем не для этого пекла, установившегося в конце июля. В этот утренний час (еще только пробило восемь) жара пока не давала о себе знать в полной мере, но утепленного летного комбинезона, в который он только что втиснулся, было достаточно, чтобы на лбу выступил липкий пот. Обременительным казался и надувной спасательный жилет, стягивавший грудь, и кислородный баллон, привязанный к левой голени, необходимый только, если придется выбрасываться с парашютом на высоте 30 тысяч футов. Очаровательная перспектива для летчика, которому в одиночку едва удавалось закрыть крышку кабины, не говоря уже о том, чтобы ее открыть!

Единственное, от чего ему повезло избавиться, так это от револьвера 45-го калибра. Его, в соответствии с инструкциями, полагалось иметь при себе на случай, если самолет подобьют над вражеской территорией. Как и его боевые товарищи, также освобождавшиеся от ненужной тяжести, он с трудом представлял себя в роли голливудского героя, успешно отстреливающегося от отделения немецких солдат. Будет чудом, если он вообще сумеет выжить при падении. Он давно перестал верить в чудеса, но кислородный баллон – совсем другое дело. В отличие от револьвера, этот баллон оставался символом спасения, спасательным кругом, созданным для высот стратосферы. Этот груз стоило носить, чтобы соблюсти видимость и заверить других, да и самого себя в соблюдении правил игры. Своего рода дань, что приходится платить тем обрядам, без которых, будь то война или мирное время, ничто в этой преходящей жизни не имело твердой структуры или хотя бы опоры. Материальный эликсир, он напоминал больше цепи и чугунный шар заключенного, тягостная память о недолговечности его феодального владения. Попав в кабину, он терял свою свободу. Он смахивал, как сам однажды написал, на курительную трубку в ее мешочке. Ему было тесно, как раку в панцире. Он становился пленником своего тела, но оно само было зажато в этот металлический панцирь. Так капитан на своем суденышке зависит от его капризов.

Присев на левое крыло самолета, лейтенант Реймон Дюрье, офицер действующей армии, в последний раз проверял ремни парашюта, переговорное устройство и систему подачи кислорода. Функционирование створок камеры было уже проверено. Ничего нельзя отдавать на волю слепого случая, хотя Дюрье прекрасно знал, как часто именно за случаем оставалось последнее слово.

Удостоверившись, что все в порядке, он помог закрыть крышку кабины, с которой пилот не справлялся самостоятельно, поскольку после катастрофы в Гватемале с трудом поднимал левую руку выше плеча. Покончив с этим, Дюрье скользнул взглядом по крылу и дал отмашку механику. С резким кашляющим ревом заработал сначала первый, затем второй двигатель, и сильный поток воздуха, подобно невидимым косам, пригнул траву. Упакованный в свое снаряжение, совсем как лошадь-тяжеловоз в сбрую, пилот почувствовал, как напрягся корпус машины. Многочисленные приборные щитки... На лбу пролегли морщины, появлявшиеся каждый раз, когда он оставался один на один со своими мыслями, а не занимался, например, карточными фокусами или хохотал над злополучными товарищами по эскадрилье, вынужденными неподвижно сидеть за столом, в то время как полный кувшин воды опрокидывали им на голову.

Наконец он поднял руку к микрофону, прижатому к подбородку.

– Колгейт, Голоштаный Шесть запрашивает вышку... – неуклюже начал он на ломаном английском. – Разрешите рулежку и взлет?

– О'кей, Голоштаный Шесть. Рулежку и взлет разрешаю.

Команду, судя по акценту, подал американец из палатки управления полетами, расположенной в полумиле от самолета, на краю взлетной полосы.

Краткая дрожь прошла по корпусу самолета, и тело Дюрье отозвалось на нее собственной дрожью, как только механик выбил из-под колес башмаки. «Лайтнинг» (номер 223 группы аэрофотосъемки 2/33) стартовал по грязи и траве до конца поля, где начиналась перфорированная металлическая полоса. Она служила взлетно-посадочной для «спитфайеров», за штурвалами которых сидели британцы, и «лайтнингов», управляемых французами и американцами. С начала войны небольшое летное поле для энтузиастов летного дела использовалось в военных целях, и за исключением самолетов только лачуга с одной стороны и одинокий ангар неподалеку остались признаками реальности поля. Спустя одну-две минуты «лайтнинг» поплыл в воздухе, повторяя своей траекторией рельеф побережья, подобно хищной птице на охоте. В жаркий полдень самолет ясно отражался бы в спокойных водах лагуны Бигулия, но на этот раз ниже скользила его тень, словно изображение в мутном зеркале. Слева возвышались скалистые горы в своем яростном блеске, баюкая окрашенные охрой крыши деревень-крепостей, которые обостренная мудрость столетий взгромоздила на вершины предгорий на почтительном расстоянии от населенного сарацинами берега. Бастия, с ее стоящей в отдалении генуэзской колокольней, уплыла назад и оказалась вне поля зрения со своими огромными валами, уязвимыми с воздуха, как устрица в открытой раковине. По правому борту над морем плавно проступили скалистые массивы архипелага Эльба и Лигуриан.

Впереди, всего в тридцати минутах полета, если верить карте, лежала земля Франции, которую он оставил в 1940 году, отдаленная от него уже сорока четырьмя месяцами.

«Я так стар, так много я оставил уже позади».

Это произошло четыре года назад, когда он играл в прятки с «мессершмиттами» и бросал вызов зенитной артиллерии. С высоты в десять километров он разглядел темное пятно на поверхности земли, которое оттуда абсолютно ничего для него не значило. И все же оно вполне могло оказаться огромным загородным домом, совсем таким, в каком ему приходилось однажды жить... И двое дядюшек прохаживаются по полутемной прихожей, «неспешно внушая ребенку смысл какого-нибудь понятия, столь же трудно вообразимого, как необъятность морей». И на мгновение его мысли вернулись в прошлое... «когда я был маленьким мальчиком...». Это напоминало начало сказки: «Давным-давно...» «Когда я был маленьким мальчиком... Слишком много воды утекло со времени моего детства. Детство – это обширная земля, из которой прибыл каждый из нас!» А он сам, откуда он родом? И в ответ прозвучало с невозмутимостью эха: «Я – из страны моего детства». Из страны размером не больше чем полутемная прихожая и все же необъятной, как сама Вселенная. Из страны, над которой он скоро пролетит на все той же абстрактной высоте в тридцать тысяч футов. Эта земля его детства появится, чтобы ласково и нежно поприветствовать его, радуя гладким пространством воды с едва переливающейся рябью, с бликами белых пляжей, похожими на мазки кисти художника, ниже холмистых сгибов, и Поркероле и Йере, дрейфующими по морю, подобно опьяненным левиафанам. А потом он ощутит невидимое присутствие шато «Ла Моль», затерявшегося в окружающих его дубах и елях. «Ла Моль», увитый стелющимися побегами с нежными розовыми цветами, со старой башней под черепичной крышей, где один из героев Дюма, шевалье де Ла Моль, однажды принимал у себя королеву Марго. Паула, гувернантка из Тироля, очаровывала детей своими сказками на сон грядущий.

А следом, по счастливой случайности не закрытый облаками, проплывет залив Эслерель и Агай, этот драгоценный резной перстень в одной из его так похожих на пальцы рук бухт. Агай (уже само название переполнено радостью!), где Консуэла поразила все его семейство кроваво-красными розами в блестящих иссиня-черных волосах под свадебной мантильей. Если ему посчастливится, он сумеет различить там старые стены морского форта, но только

на мгновение, поскольку они неумолимо промчатся под ним и останутся где-то позади и вне его поля зрения, словно чья-то невидимая рука вытянет из-под него этот вздыбленный ковер. Волнами откатившись назад, холмы перейдут в горные цепи и горные хребты, сердито обнажившие отточенные грани своих клинков навстречу ему. И по мере приближения к Аннеси он будет еле сдерживать себя, чтобы не ринуться вниз и хоть издали кинуть взгляд на кажущийся с такой высоты просто пятнышком Сен-Морис и его темные липы. Сен-Морис, который его замученная долгами мать вынуждена была продать много лет назад... Слишком много воспоминаний осталось там, но только воспоминаний. О пикниках на берегу Эн, с его зеленоватыми горными водами, стремительным бурлящим потоком, с множеством водоворотов, несущимися к Роне. И всего в нескольких километрах вниз по течению – Лион, зажатый между двумя реками. Самый солидный, самый буржуазный из всех французских городов...

В первый раз они покинули квартиру в Лионе, когда ему не исполнилось и четырех лет, и воспоминания об этом кажутся очень смутными. Разве лишь Фурвьер, с его базиликой, высоко на холме, куда они направлялись на воскресную мессу, поднимаясь на позванивающем фуникулере. Двигаясь по туннелю и через турникет, он обычно глазел на стены, где пестрели рекламные объявления, что-то вроде «Льняные простыни Гирардота отлично успокаивают страдания, боли и раны». Странно, почему все-таки эти слова произвели столь глубокое впечатление на ребенка? Тридцать лет спустя они выплыли на поверхность из сокровенных глубин его подсознания, когда его друг Гийоме, считавшийся пропавшим без вести, вернулся, подобно призраку, посетившему страну мертвых. «И вскоре после этого я привез тебя к «Мендозе», где белые простыни обволакивали тебя, подобно бальзаму». Бальзам для тела. Бальзам для души...

* * *

Взлетная полоса далеких военных лет давно исчезла под широкой бетонной полосой. На самолеты «Эр-Франс» из Ниццы или Парижа садятся и взлетают с нее несколько раз в день. И сверкающее новое здание аэропорта заменило крохотный, выкрашенный в оранжевый цвет контрольно-диспетчерский пункт, построенный вскоре после его исчезновения. И теперь только мемориальная доска, окруженная клумбой, напоминает, что «отсюда летчик и писатель Сент-Экзюпери отправился 31 июля 1944 года в свой последний боевой вылет».

Память о месте его рождения в Лионе сохранилась лучше, поскольку дом номер 8 по улице Альфонса Фошье все еще стоит. Овальная мемориальная доска над скромным дверным проемом сообщает нам, что «здесь, 20 июня 1900 года, родился Антуан де Сент-Экзюпери». Улица тогда называлась дю Пейра в честь генерал-лейтенанта, первого сенешаля, но в 1909 году отцы города решили, что он имеет меньше прав на признание, нежели выдающийся акушер, в честь которого она и называется до сих пор. В расположенном на углу рю дю Плат доме первоначально квартировали солдаты короля, и фигурные и треугольные перемычки окон – подлинны свидетели XVII столетия, равно как и глубоко въевшиеся сажа и копоть, покрывающие стены дома.

Его родители занимали третий этаж, и именно в этом доме Антуан провел первые годы своей жизни. Какие бы воспоминания он ни сохранил о тех годах, все они были полностью вычеркнуты из памяти и вытеснены более яркими впечатлениями поздних лет, и он никогда, похоже, не выказывал и не лелеял в своем сердце никакой особой привязанности к городу, где появился на свет. Его родители не принадлежали к коренным жителям Лиона, и их временное пребывание в этом городе можно считать совершенно случайным.

Его отец, граф Жан де Сент-Экзюпери, вырос в Ле-Мансе и мог бы так никогда и не встретить молодую девушку, ставшую впоследствии его женой, если бы в 1896 году «Компани

дю Солей» – страховая компания, на которую он работал, – не послала бы его в Лион в качестве инспектора.

Мать Антуана, урожденная Мари Бойе де Фонсколомб, происходила по отцовской линии из семьи, длительное время принадлежавшей к самым знатным аристократическим кругам Экс-ан-Прованса. Его бабушка по материнской линии, урожденная Алиса Романе де Лестранж, происходила из старинного рода Виваре, различные ветви которого подарили миру архиепископа, папского посланника, аббата-реформиста ордена траппистов, посла, гофмейстера суда, множество рыцарей и даже маршала Мальтийского ордена крестоносцев. Виваре – типичное и весьма распространенное имя для той холмистой области, которая простирается по правому берегу Роны между Вьенном и Балансом, ближе к Лиону, чем к Эксу или Марселю. Это объясняет, почему тетушка Алисы де Романе, Габриэлла де Лестранж (двоюродная бабушка Мари де Фонсколомб и, таким образом, прабабушка Антуана), предпочла выйти замуж за дворянина из этой области, графа Леопольда Трико. Брак наградила ее загородным домом приблизительно в двадцати милях к северо-востоку от Лиона, а также квартирой на площади Белькур. Именно в этой квартире, почти сразу же по прибытии в город, Жан де Сент-Экзюпери был представлен Мари де Фонсколомб.

Всего в нескольких ярдах от уголовного дома на рю дю Плат находилась просторная площадь, с тенистыми деревьями и изысканными особняками XVII и XVIII столетий. Одним из самых интересных был особняк под номером 1, чей декоративный балкон нависал над мостовой, и плоская крыша, покрытая коричневой черепицей, напоминала горделивые фасады домов Италии или Испании. Здесь, на втором этаже, графиня Трико жила с размахом и с тем шиком, который сделал ее дом одним из самых фешенебельных салонов Лиона. Вечер среды традиционно превращал особняк в «открытый дом». В этот день любого пришедшего гостеприимно встречали и приглашали на обед, конечно, при условии, что он был достаточно успешен в делах и ему удавалось получить надлежащее представление.

За пятнадцать лет до рождения Антуана Габриэлла Трико потеряла мужа, и, в дополнение к прочим печальям, ее единственная дочь умерла от дифтерии в возрасте трех лет. Она любила молодежь и была счастлива заполнить образовавшуюся пустоту заботой о своей крестнице и внучатой племяннице, Мари Фонсколомб, а после брака девушки с Жаном де Сент-Экзюпери – об их постоянно увеличивающемся потомстве. Ведь появлению на свет Антуана предшествовало рождение двух его сестер – Мари-Мадлен (рожденной в 1897 году) и Симоны (1898 года рождения). После него в семье прибавился еще один сын – Франсуа (в 1903 году). Самая младшая из сестер Антуана, Габриэлла, еще не родилась, когда в марте 1904 года Жан де Сент-Экзюпери умер после продолжительной болезни, в те годы считавшейся неизлечимой. Столь схожая горькая вдовья доля еще больше сблизила тетю и овдовевшую племянницу, чью семью старшая из дам теперь воспринимала как свою собственную. Всю зиму Антуан и его сестры бывали в салоне графини Трико на площади Белькур. Незадолго перед Пасхой Габриэлла покидала квартиру в Лионе и вместе с внучатой племянницей и ее детишками выезжала в свое имение в Сен-Морис-де-Реманс.

Трехдневное путешествие проходило на омнибусе – попыхивающем и выпускающем клубы дыма местном поезде, составленном из ярко окрашенных вагонов (желтых – для второго класса), в которые можно было взобраться прямо с перрона, потянув за большую медную ручку на двери купе. По тем же самым путям, что теперь используются оснащенными дизельными двигателями поездами, эти необычного вида старинные паровозы с угольными топками, пыхтя, ползли мимо бесконечной вереницы лесных складов Бротте и северо-восточных предместий Лиона. За Мексимье омнибус грохотал по металлическому мосту, перекинутому через зеленые воды Эн, и снова тянулся по земле еще три мили до небольшой станции Лейман, где контролер исполнял также функции смотрителя при шлагбауме на железнодорожном переезде, поднимая и опуская шлагбаум. А дальше уже поджидали ландо и Анри Жэнтон, кучер, чтобы

остающуюся милю пути дотрясти все семейство по дороге, окаймленной живой изгородью из ягодных кустарников, прямо к поместью Сен-Морис.

В расположившемся на небольшом холме с видом на широкую долину с клеверными пастбищами и пшеничными полями селения Сен-Морис-де-Реманс сейчас появилось электричество, асфальтовое шоссе и несколько четырехугольных зданий с водопроводом, но во всем остальном оно мало изменилось за минувшие годы. Старые черепичные крыши с огромными карнизами, нависающими над землей, связывают архитектуру этого селения с Савойей, расположенной на востоке, а под раскидистым каштаном на площади – неправильной формы пространстве земли между платанами с пятнистой корой – местные жители все еще собираются, чтобы поиграть в шары, как в любой другой деревне Прованса. От площади, прямо за рестораном гостиницы, которая оказалась не в состоянии удостоиться ни значка «вилка», ни даже «кровать» в путеводителе Мишлена, начинается дорога, ведущая к юго-западной окраине деревни, где в обрамлении сараев и прочих сельскохозяйственных построек находится вход в частные владения. Здесь Антуан провел самые счастливые месяцы своей юности.

Направо от ворот, когда вы входите в передний двор, еще можно увидеть каретный двор с высокой крышей. Но крошечного шале, когда-то расположенного налево от ворот, которое Жан де Сент-Экзюпери превратил в свой офис и которое его вдова Мари позже использовала как студию для своих картин, уже не существует. Нет и веранды у входа, где графиня Трико любила наслаждаться послеполуденным солнцем и чудесной картиной, открывавшейся за воротами на долину, и видневшимися вдали горными хребтами Шаламонт и Бублань. С этой стороны дом, с его сероватыми стенами и довольно нескладной шиферной крышей, смотрится более внушительно, чем если бы архитектор развернул его спиной к дороге. На самом же деле эта часть дома была достроена уже в XIX столетии к сложившемуся ансамблю. Из сада или со стороны парка можно увидеть, как удачно оттеняет она изящную симметрию особняка времен Людовика XVI.

Украшенная изогнутым порталом по центру, чтобы сломать прямую линию плоских и широких крыш и двух террасных крыльев в палладианском стиле, вошедшем в моду во Франции XVIII столетия, эта более старинная часть была первоначально построена, чтобы обеспечить подходящее жилье для второго сына. Ибо основное родовое имение семьи Трико расположено на четыре мили вверх по долине, в Амберье. Оно было и остается более значительным и величественным зданием, с солидным каменным балконом во всю длину фасада. На первом этаже – не меньше тринадцати окон, угрюмо взирающих с увитой плющом стены. И вид из того здания куда более захватывающий, ибо шато в Амберье расположено на холме, сторожащем вход в скалистые ущелья, простирающиеся в восточном направлении к Кюлозу, озеру Бурже и Эксле-Бен. В XIX столетии обеспокоенное, подобно многим другим благородным семействам, революционными переворотами, которые могли положить конец старому режиму, графское семейство Трико было вынуждено отказаться от особняка, построенного в Сен-Морисе, на долгие годы. Но во время Второй империи они восстановили большую часть древнего богатства, и им удалось заново обрести дом незадолго до смерти графа Леопольда в 1885 году. Заядлый путешественник, граф часто отсутствовал целыми месяцами, в то время как его жена, графиня, нигде и никогда не чувствовала себя счастливее, нежели в родных стенах. Будучи гостеприимной хозяйкой и обожая царствовать в обители, полной домочадцев, она сделала Сен-Морис вторым домом для своей крестницы и внучатой племянницы намного раньше, чем та сочеталась браком с отцом Антуана.

Пройдя с веранды сквозь стеклянные двери в освещенный холл, вы начинаете ощущать незатейливое обаяние этого дома.

С раннего утра прогретый проникающим во все уголки солнцем, заливающим чернобелый мраморный пол через французское окно в дальнем конце, дом жарким летом после полудня постепенно остывал, по мере того как солнце клонилось к закату. С сумерками он,

как правило, погружался во всепоглощающую тьму, нарушаемую лишь мерцающей керосиновой лампой, и это было одновременно и таинственно, и немного страшно. Но все же дети, с тем возбужденным желанием ощутить себя взрослыми (тайное вожделение юности), оставались сидеть после обеда в кожаных креслах или на дубовых сундуках, слушая своих дядюшек, беседующих о мире, казавшемся им более обширным, так как оставался для них неизвестным. Прохладная прихожая входила в число владений детей с гораздо большим правом, чем гостиная, куда их допускали только во время еды или званых вечеров и куда взрослые удалялись для игры в бридж, в то время как малышкой отсылали наверх спать. Четыре дубовых сундука, тщательно натертых пчелиным воском, каждый высотой в два фута и длиной в три ярда, выставленные вдоль стен, по своей высоте были самым подходящим местом для сидения, и еще их использовали для хранения игрушек, а также множества нот и книг. Некоторые из этих игрушек делали сами дети, и иногда это приводило к довольно неожиданным последствиям для их компании. Например, однажды дети открыли сундук и в ужасе отшатнулись при виде вырезанных из картофеля кукольных лиц, на которых выросли светящиеся в темноте побеги.

Мебель в Сен-Морисе не относилась, если можно так выразиться, к какому-то определенному стилю и совершенно не соответствовала сомнительным вкусам той эпохи. Но это – тот факт, который ребенок мог бы осознать намного позже. В глазах молодого Антуана расположенная налево от прихожей гостиная с потолком, составленным из резных квадратов из древесины грецкого ореха, и массивным итальянским буфетом была наполнена готической таинственностью.

В другом конце вестибюля, у каменной лестницы, ведущей на верхние этажи, размещались три комнаты первого этажа, занимаемые Мари де Сент-Экзюпери и двумя ее старшими дочерьми. Справа небольшой коридор вел в салон, и его закрытые ставнями окна также выходили в парк. За ним находилась библиотека, а далее – бильярдная. Темный коридор, куда можно было попасть через небольшую дверь, сделанную в резной до самого потолка дубовой панели, прямо посередине вестибюля, вел к малому салону, «странноприимной комнате», ризнице и, наконец, к часовне, тройное окно которой венчалось крошечным тимпаном, представляющим собой двух ангелов, держащих маленького ребенка над точной копией шато, и надписи: «Earnos et Nos» («Позвольте нам также идти»). Ведь здесь, как и в большинстве других французских семейств того времени (особенно в сельской местности), вечерняя молитва после обеда была частью ежедневного ритуала. В то время как слуги входили в часовню со двора, личная горничная графини обычно посылала свою маленькую внучку в салон, чтобы объявить: «Госпожа графиня, настало время молитвы». С подсвечником в руке, графиня возглавляла процессию в часовню, где она одна имела право на подушку, подарок приюта, который она поддерживала в Лионе, в то время как остальной части компании приходилось довольствоваться малым, и они молились на жестких скамьях из дуба или деревянных стульях. Некоторые молитвы произносились на латыни, и величественная престарелая дама полностью, абсолютно спокойно, игнорировала при этом грамматику и лексику. Пение графини, зачастую откровенно фальшивое, также было источником тщательно скрываемого веселья молодежи. Дети всегда остаются детьми, и они получали от молитв удовольствие, но наибольший восторг вызывали у них попытки подслушать ее исповедь.

– Отец мой, я не могу простить себе, я произнесла проклятье.

– О, госпожа графиня, несомненно, имела на то причины.

Соблюдение обычаев было не столь уж утомительным занятием, и такое уважительное отношение к традициям, кажется, впечатляло юного Антуана. У него воспитывалось уважительное отношение к обрядам и ритуалам, которые создают упорядоченную структуру в противовес бессистемному хаосу иного существования. «Чтобы существовать, надо окружить себя традициями, и эти традиции необходимо сохранять», – написал он в своей первой книге. Испытанным временем истинам матушка-настоятельница этого небольшого мирка воздавала

должное каждый вечер из чувства ответственности за исполнение своих патрицианских обязанностей. Ее можно встретить, таинственным образом воплотившуюся в Берберского вождя, патриарха Ветхого Завета, короля-философа, чьим сыном Сент-Экзюпери вообразил себя в своей последней работе «Цитадель».

«И обряды во времени – то же, что дом в пространстве... Таким образом, я бреду от праздника к празднику, от годовщины до годовщины, от урожая винограда до урожая винограда, так же, как я шагал еще ребенком от палаты совета до палаты отдыха... В глубинах дворца моего отца, где каждый шаг имеет значение».

Роскошным дом в Сен-Морисе, возможно, и не был, но он оказался достаточно просторным, чтобы удовлетворить запросы своих многочисленных обитателей. Так, второй этаж принадлежал «Большому Жану», близкие называли его «Нана». На третьем этаже располагалась графиня и ее преданная служанка, вдовью половину отвели детям. Там все казалось гораздо меньше, чем в других частях дома. Низкие квадратные окна, закрытые решетками, чтобы удержать молодежь от желания вылезти на балюстраду и спасти от падения с крыши. Здесь молодой Антуан, его младший брат Франсуа и их младшая сестра Габриэлла занимали две смежные комнаты, стены которых были оклеены радужной цветной бумагой. Комната мальчиков в прохладные дни отапливалась крошечной фарфоровой печуркой, чье уютное пыхтение осталось одним из самых драгоценных воспоминаний детских лет Антуана. Именно в этой комнатке, освещенной светом большой керосиновой лампы, свисающей с потолка, он начал покрывать листы бумаги своими первыми рисунками, которые позже превратились в очаровательные иллюстрации к «Маленькому принцу». Здесь он также хранил небольшую шкатулку, украшенную гобеленом, куда, как задумчиво отметит его мать спустя годы, «он часто прятал письма, которые забывал посылать мне». Но это было уже после того, как он научился писать и когда наполненный сказками мир детства начинал рушиться под коварными атаками действительности. А тогда шкатулка становилась настоящим волшебным сундучком, полным сокровищ, куда маленький светловолосый мальчик торжественно прятал свои талисманы и тайны. И подобно Синей Бороде или тому, кого он представлял на месте Синей Бороды, слушая волшебную сказку, он откроет шкатулку и будет говорить матери или няне: «Мадам, вот перед вами сундуки. Я положил туда отдохнуть умирающие закаты».

Дети составляли своеобразное и очень живое трио, но заводилами были, конечно, эти двое мальчишек, Тонио и Франсуа, которые вечно ссорились и шумели. «Они были, надо признаться, невыносимы, – вспоминает Симона, их старшая сестра, – но ведь именно так, вероятно, и должны вести себя двое мальчишек, полных жизни, когда рядом нет отца, чтобы держать их в узде. Они воевали между собой и никого не слушались. По утрам на их этаже начиналась безумная беготня. Антуан, как правило, отказывался умываться и, извиваясь, вырывался из рук робкой гувернантки. Он бегал туда-сюда голышом, поддразнивая ее. Или, если Франсуа отказывался слушать очередную его историю, напевая дразнилку: «Ты дурак, Флонфлон, ты дурак», он набрасывался на брата и пускал в ход кулаки, изо всех сил колошматя его. Обычно они ели не за общим столом, а со своей гувернанткой и младшей сестрой, но, как правило, пронзительные крики и неистовые протесты: «Нет, не буду я есть эту вашу морковь!» – все равно нарушали мирный процесс у взрослых. Иногда моя мать, разгневавшись, решала строго наказать их и направлялась отшлепать их... домашней туфлей. Но это безобидное орудие, да еще в ее совсем не жестокой руке, не причинявшее им никакой боли, только вызывало у мальчишек очередной приступ хохота».

Гувернантку, которой ценой невероятных усилий приходилось держать в узде этих бойких детей, звали Маргарита Чапей. В деревне Сен-Морис все называли ее «мадемуазель Маргарита». Но Антуан и его сестры предпочитали называть ее Муази – детским производным от «мадемуазель». Ее вздохи и ее любимая фраза: «Как все плохо», служившие источником бесконечных забав для детей, позже нашли отражение в «Планете людей», в известном эпизоде,

где старая гувернантка, «совсем как крыса», бесшумно скользит от одного «мрачного платяного шкафа к другому, все проверяя отбеленное полотно, разворачивая, переворачивая, пересчитывая его. «Ах, мой бог, какое несчастье!» – восклицает она при малейшем признаке изношенности, в котором для нее воплощается угроза незыблемости домашнего уклада. А затем тут же спешит примоститься у лампы, чтобы починить эту на престольную пелену ее алтаря, залатать эти паруса, и не было для нее служения выше, чем эта неустанная работа во славу ее великого Бога, этого трехмачтового судна».

Сравнение дома с судном, плывущим по волнам времени, то и дело появляется в произведениях Сент-Экзюпери и, кажется, берет начало с посещений чердака дома в Сен-Морисе в юном возрасте. «В дождливые дни, – вспоминает его сестра Симона, – мы, по обыкновению, играли в шарады или исследовали чердак. Не обращая внимания на пыль и падающую штукатурку, мы обшаривали трещины в стенах и простукивали балки в поисках кладов, а в том, что клады существуют в каждом старом доме, мы не сомневались. Очарование этого поиска спрятанных там, по нашему твердому убеждению, сокровищ Антуан пронес через всю жизнь». Или, как сам он написал в своей первой книге, «мы, бывало, находили прибежище среди балок чердака. Огромные балки защищают дом бог знает от чего. О да, от времени. Время – враг дома. Мы хранили его в заливе со всеми традициями и обрядами прошлого. Но только мы, среди тех огромных балок, знали, что этот дом спущен на воду подобно судну. Только мы, посещая укромные уголки и бастионы дома, знали, где просачивается вода. Мы знали, через какие отверстия залетали птицы, чтобы найти себе погибель. Мы знали каждую трещину в деревянной конструкции. Внизу беседовали гости и танцевали очаровательные дамы. Какая обманчивая безопасность! Внизу, без сомнения, разносили ликеры официанты в черном с белыми перчатками. А мы в это же время там, наверху, наблюдали, как ночь просачивается через трещины в крыше и как звезда, одна-одинешенька, падает на нас через крошечное отверстие».

После дождя, когда воздух был особенно ясен, дети со второго этажа могли пристально разглядывать ели, липы и каштаны в конце сада и даже увидеть очертания далеких сине-серых пиков вокруг Гренобля. Несколько ближе, в лесу у Ла-Сервета, на его темном зеленом горном хребте виднелся таинственный куб замка, утонувший среди деревьев.

Аромат влажной травы и свежего навоза доносился с прилегающих полей, принесенный ветром, пролетающим сквозь сосны и переносившим звуки деревенского колокола. И хотя подрастающим детям больше нравилось отправляться на прогулки, перебираясь через речушку Альбарин или к какой-либо тихой заводи реки Эн (вообще-то довольно бурной в своем течении), парк в две сотни ярдов в длину и еще больше в ширину оставался их королевством, достаточно обширным для юных фантазий и жажды странствий.

Каждый ребенок имел свой кусочек мха, листвы и отдельный, выстроенный им самим «дом» в зарослях сирени в самом отдаленном конце парка. В этих домах были даже очаги, сделанные из неотесанных камней, на которых – в облаках дыма и пламени, угрожавшего в любой момент сжечь эти хрупкие сооружения, – дети соперничали друг с другом в приготовлении блинов или картофеля. Мальчишки отполировали до блеска стволы великолепных темных сосен и соорудили себе хижину на нижних ветках. Мимма (прозвище старшей сестры Мари-Мадлен) и Симона устроили кроличьи бега сквозь кусты роз. А ведь был еще огород, налево от дома и за пределами липовой аллеи, занимающий больше трех-четырёх акров. Здесь Эжен Бушар, садовник, помогал детям выращивать «свои» овощи, которые они позже продавали – по непомерным ценам – взрослым.

Особая нежность к животным и цветам отличала всех детей, начиная со старшей, Мари-Мадлен, которая прекратила обрезать цветы, потому что не хотела видеть, что они страдают. Позже она даже написала восхитительную детскую книгу под названием «Друзья Биш». Биш – ее другое прозвище, а ее друзья – это сова, лиса и хорек.

Их любовь, как часто случается с детьми, была поразительно собственнической. Ручную черепаху привязывали к поводку, чтобы выводить ее на прогулку.

– Скажите мне, Паула, – обращался маленький Антуан к тирольской гувернантке, – каково было быть медведем? Или львом? Или слоном?

И Пауле приходилось описывать свои предыдущие инкарнации, как если бы они имели место. Даже самые скромные существа становились объектом особого внимания. Однажды, когда мать неожиданно поднялась вверх в комнату для игр, маленький Франсуа приложил палец к губам:

– Мама, тише, я слушаю музыку мух.

Утро ее дня рождения – всегда большое событие – начиналось со стука в дверь. Это дети принесли подарки. На сей раз Биш (Мари-Мадлен) и Моно (Симона) принесли книгу. Франсуа пришел с восхитительным белым камнем, а Диди (Габриэлла) – с подушечкой для игл, на которой, с помощью домоправительницы, своими маленькими ручками сделала десять стежков. Антуан поздравил ее своими стихами:

Бог дал тебе красу и стать,
И ты нас радуешь, стремясь очаровать!

Она со слезами радости на глазах поцеловала их и сказала, что сегодня будет пикник под каштанами в лесу. Они устроят бега для улиток, этих крошечных рогатых созданий, которых Антуан и Франсуа тренировали всю прошлую неделю. Затем пойдут к друзьям на чай. Пикник прошел восхитительно, вспоминала Мари де Сент-Экзюпери, «но когда дали старт, улитки отказались двигаться. Чтобы различать их, улиток покрасили в различные цвета, и краска, вероятно, душила их».

Разместившись на краю лужайки или в прохладной сени лип, убрав пряди темных волос под широкие поля соломенной шляпы, Мари де Сент-Экзюпери работала за своим мольбертом, в то время как дети играли и шумели вокруг нее. Очаровательная семейная фотография, сделанная около 1905 года, запечатлела Мари с еще очень маленькой дочерью Габриэлой на руках. Антуан, небрежно высовываясь из коляски, наклоняется вперед, и густая метелка белокурых волос закрывает его сестер Симону и Мари-Мадлен, которые смотрят на него с неодобрением. На другой фотографии того же времени запечатлена молодая вдова с убранными в прическу длинными волосами и ниспадающей на лоб челкой, в изящном платье с оборочками, весь край которого, от темного банта сзади до воротника стоечкой у подбородка, твердил о том, что она словно сошла с портрета Ренуара. Темноволосая и темноглазая, она была и тоньше и выше сестры своей матери, а врожденное изящество ее внешности оттенял след долгих душевных страданий, вызванных ранней смертью мужа и несчастьями старшей дочери, с возрастом все больше мучившейся от приступов эпилепсии.

Дети Мари, начиная с Антуана, преклонялись перед ней. Она вся источала любовь к ним и считала невозможным, как бы ужасно они себя ни вели, бранить их. «А когда она хотела нарисовать нас, – вспоминает ее дочь Габриэлла, – она говорила: «Сидите смирно, а я буду рассказывать вам сказку». И неугомонный ребенок тихонько замирал, пока мать, которая была не только художником, но и поэтом, рисовала его, и он (или она) оставался рядом ровно столько, сколько она того желала.

Как всегда, своевольный маленький Антуан не мог дождаться своей очереди. Пьер Шерье, которому посчастливилось сойтись с ним ближе в дальнейшем, оставил нам очаровательную зарисовку: пятилетний мальчик, с необыкновенными, золотистыми волосами, за что его иногда называли «король-солнце», настойчиво двигается вокруг крошечного кресла под зеленым сукном так, чтобы оказаться рядом с матерью в тот момент, когда она присядет. «Мама, расскажи мне сказку!» И спешащая мать чувствовала себя обязанной в двадцатый раз повто-

речь историю про Иосифа и его братьев или снова рассказать про Ребекку и Вейла. Очень весело взрослых, когда эти истории, как правило чудесным образом преобразованные, пересказывались другим братьям и сестрам. Так, однажды маленький Франсуа пересказывал историю Авраама: «И затем обратился Исаак к Аврааму и сказал: «Мой отец, где – твари? Я не вижу ни одной, чтобы принести в жертву». И Авраам ответил ему: «Сын мой, ты и есть это животное».

Поэтесса и художница, мать Антуана была также незаурядным музыкантом. В юности она играла на гитаре, а ее брат Юбер вместе с ее гувернанткой аккомпанировали ей на мандолине. Ее отец, Шарль Бойе, барон де Фонсколомб, прославился как не лишенный таланта композитор, а дедушка, Эммануэль, игравший на органе в Экс-ан-Провансе, сочинял мессы, которые исполняются и сегодня. И Мари, и ее младшая сестра Мадлен (частый гость в Сен-Морисе) унаследовали семейный талант и стали как композиторами, так и пианистками. Они также хорошо пели (Мари – контральто, ее сестра – сопрано) в женском хоре деревенской церкви, где мать Антуана играла на фисгармонии во время воскресной мессы.

Один раз в неделю молодая преподавательница музыки по имени Анна-Мари Понсе приезжала из Лиона в омнибусе, и ее встречал в Леймане кучер. Ее отец, известный горожанин, а одно время – директор Лионской оперы, организовал в городе премьеры «Лоэнгина» и «Смерти валькирии» – с масляными лампами и свечами, поскольку электричество было еще неведомо горожанам. Частая гостыня на «вечерах по средам» у графини де Трико, она учила племянницу хозяйки петь романсы Шумана и финалы музыкальных циклов Рейнальдо Хана, ставшего тогда модным. В Сен-Морисе ей пришлось в голову учить музыку не только Мари и ее сестру Мадлен (которая была тогда еще не замужем), но и детей. Антуана обучили игре на скрипке и на фортепьяно. Сохранилась забавная более поздняя фотография, где он, одетый в совсем неподходящие к случаю бриджи и сапоги для верховой езды, мечтательно играет на скрипке. Похоже, все вокруг понимали, что его дарования по части музыки скромнее, чем у других, и он никогда не достигнет виртуозности своего брата Франсуа, унаследовавшего музыкальный дар Фонсколомбов. Хотя Антуан мог добросовестно сыграть мелодию на фортепьяно, но впоследствии предпочитал развлекать компанию, катая апельсины или яблоки вдоль клавиатуры со словами: «Теперь признайтесь, разве это не напоминает Дебюсси?» И вполне естественно, что в то время, как его мать любила Шумана и романсы, любимым композитором Антуана стал Бах.

Но одна страсть все-таки владела юным Антуаном, и страсть эта называлась – поэзия. Здесь также легко обнаружить влияние его одаренной матери. Вряд ли милая Паула, тирольская гувернантка, или преданная, но педантично-сухая Муази могли способствовать не по годам рано проявившейся у мальчика любви к одам и сонетам.

Ему исполнилось только шесть лет, когда он написал свою первую поэму, а к семи годам он уже сделал набросок оперы в пяти актах! Однажды ночью, вспоминала его сестра Симона, где-то после одиннадцати часов, когда дети улеглись в свои кровати, раздался стук в дверь. В дверях стоял Антуан, одетый в рубашку и обернувшийся вокруг талии что-то похожее на одеяло или скатерть.

– Я пришел прочитать свои стихи, – заявил он пораженным сестрам.

– Но, Тонио, мы спим...

– Ну и что? Вставайте! Мы идем к маме.

– Но мама тоже спит!

– Мы ее разбудим! Вот увидите, все будет в порядке!

Мама попротестовала для проформы, но последнее слово осталось за Антуаном. Это было длинное слово, так как юный упрямец удерживал небольшой круг покачивающихся спрессованных голов и осоловевших от сна глаз вплоть до часу ночи чтением своих вдохновенных строф.

Переполненный поэзией, он имел соперника в лице сестры Симоны, о которой мать позже заметила: «Вот у нее-то действительно рождались идеи». Она была на два с половиной

года старше, и это давало ей, по крайней мере в ранние годы, преимущество, пока Антуан не начал ходить в школу, приобретая, в свою очередь, «классическое» образование. Именно мать настаивала на изучении Симоной латыни, к ужасу своих родственников и родни мужа, справедливо полагавших, что это лишь пустая трата времени при надлежащем воспитании молодой леди. Сказки, короткие истории, романы – все использовалось ими для выискивания сцен, которые можно было бы разыгрывать как шарады или как пьески для развлечения старшего поколения. Если (это случалось довольно часто) под руку попадались кузены, проживавшие в резиденции, их задействовали как дополнительных «рабочих сцены». Анна-Мари Понсе вспоминает один случай, когда Антуан с сестрами и кузенами решил поставить пьеску под названием «Телефон». Антуан играл главную роль – роль мужа, который, попивая кофе со своими друзьями, звонит своей жене, только чтобы убедиться: их виллу грабят бандиты. Кофе и спиртное дети решили использовать настоящие. Сен-Морис владел известными на всю округу запасами коньяка и марочных вин, включая гордость семейства, известную как «Святая вода Лестранжей». В начале второго акта подали поднос с кофе и бутылку этого вина. И в тот миг, когда Антуан стал открывать бутылку, чтобы обмыть отвратительную новость – его жена на вилле подверглась нападению бандитов, – из зала раздался крик: «Ой, они взяли мою «Святую воду»!» Вскочив с кресла, графиня Трико бесцеремонно взошла на «сцену» и удалилась с ликером, полностью разрушив замысел удрученного актера.

Невысокая, слегка полнеющая леди с круглым лицом, графиня Трико не была столь свирепа, как предполагали многие, глядя на Т-образную трость в ее руках, с которой она ходила. Блеск ее ярких синих глаз выдавал здоровое остроумие, но, в отличие от известной маркизы Крег, оптимистки XVIII века, когда-то определявшей житейскую мудрость как искусство потакать алкоголикам, графиня не проявляла благородного терпения в общении с дураками или занудами. Полковник Сент-Дидье, сосед-картежник, живший на противоположной стороне долины, был, в конце концов, вынужден наносить визиты в Сен-Морис без своей жены, которую графиня находила смертельно скучной.

– Я вижу, что мне суждено быть вашим последним альфонсом, – упрекнул ее как-то полковник, но графиня, откинув назад голову в своей широкополой шляпе, обрамленной вуалью, только громко рассмеялась.

Другим постоянным визитером в резиденции был местный священник. Отец Монтеусуи был назначен в Сен-Морис-де-Реманс в 1899 году, за год до рождения Антуана. Он совсем не походил на простоватого прелата, которого, казалось бы, должна была иметь столь маленькая деревушка, и едва ли заслуживал озорное приветствие, придуманное детьми:

Кюре, начисти башмаки
И давай-ка нас венчай!
Ждать нам больше не с руки —
Стынет страсть, будто чай!

Он не нуждался в напоминании вытирать ботинки у входа в салон, поскольку был хорошо сведущ в делах мирских, провел значительную часть своей жизни в Париже и даже пережил осаду 1870 года, о которой отец Монтеусуи, если его попросить, мог рассказывать с душераздирающими подробностями. Хроническая болезнь горла заставила его уехать «в ссылку» к более здоровому воздуху Сен-Морис-де-Реманса, где он и познакомился с графиней Трико, вскоре обнаружившей в нем превосходного партнера для игры в бридж. Правда, как игрок он был слишком хорош, и однажды графиня не смогла удержаться от укора в его адрес: «Вы отлично зарабатываете на свое проживание, господин кюре. Вкусно едите, славно пьете мою «Святую воду» и еще побеждаете в картах». Обиженный до глубины души, кюре отказался посещать имение, и настал черед графини искать пути-дороги к нему. Отчаявшись воссоздавать нужный

квартет за игорным столом из кого-либо еще, она, наконец, послала одного из своих любимых племянников, Юбера Фонсколомба, сообщить оскорбленному викарию, что соберется особенно азартная компания, если он согласится возвратиться за стол. Выбор посланника был замечателен, поскольку еще в молодости Юбер Фонсколомб имел колдовской талант очаровывать тетю пожеланиями в своих рождественских открытках: «Дорогая тетя, снег покрывает землю, но он не сможет заморозить мое сердце». Или вот что он писал, благодаря ее за более чем щедрый подарок: «Вам не следовало бы бесплодно лить воду на неблагоприятное растение». Молодой эмиссар блестяще преуспел в своей миссии. Полностью обезоруженный его страстной речью и образностью выражений, смягчившийся святой отец согласился возобновить свои посещения шато.

После лета, проведенного в Сен-Морисе, неизбежно наступало некоторое ухудшение бытовых условий, связанное с необходимостью возвращения в переполненную лионскую квартиру. Однако после смерти мужа в 1904 году Мари де Сент-Экзюпери получила приглашение своей матери проводить зимы в шато «Ла Моль», принадлежавшему ее мужу (дедушке Антуана по материнской линии) Шарлю де Фонсколомбу. Расположенное приблизительно в двадцати милях от залива Сен-Тропе, в сердце дикого и безлюдного региона, известного как «Цепь Мавров», это шато было древнее и во многом колоритней, чем поместье Сен-Морис. Фундаменты его двух круглых башен (первоначально их было четыре) относятся к XII столетию, когда монахи аббатства Сент-Виктор в Марселе вознамерились построить убежище, где они могли бы скрываться от посягательств жестоких пиратов-сарацинов, промышлявших на побережье. От монахов собственность перешла в руки различных родовитых семейств. Перед самой Французской революцией ее владельцем был Жозеф Жан-Батист Суфрен, маркиз Сент-Тропез и Сент-Канн, который переуступил шато Эммануэлю Оноре Ипполиту Бойе де Фонсколомбу. Его наиболее известный обитатель – шевалье де Ла Моль, которого увековечил Дюма в романе «Королева Марго». В честь неверной супруги короля Генриха IV, которую ее любовник привечал здесь некоторое время, одна из древних башен замка по сей день известна как «башня королевы Марго».

И сейчас путешественник,двигающийся по шоссе, идущему со стороны Сен-Тропе, может видеть этот замок, горделиво вззирающий на земли, простирающиеся сразу за «его знаменитостью». Издали он выглядит несколько обделенным растительностью, но бледные камни и плиты башен все же прикрыты тенью роскошного платана, который посадила еще мать Антуана более шестидесяти лет назад. Уже нет прекрасных розовых и белых побегов, укутывающих фасад, и деревьев и кустарников, огораживающих террасу, где Сент-Экзюпери играл ребенком. Но в салоне, по странной случайности обойденный временем, впрочем, как во многих старых провансальских домах, сохранился для восхищенных взоров потомков известный портрет предка Фонсколомба, написанный Ван Лоо.

Здесь по ночам в своей кровати маленький Антуан мог слушать перестук капель дождя, принесенного влажным восточным ветром, который хлестал по увитым побегам стенам, или гудящие в беспокойных ставнях жестокие порывы ветра, разгонявшего облака и наполнявшего ночь ледяными звездами. В хорошую погоду дети радостно забирались в семейный дилижанс под управлением извозчика и ехали до станции Ла-Фу, где пересаживались на узкоколейку и проезжали несколько миль до небольшого порта Сен-Тропе, который в то время был лишь небольшой рыбацкой деревушкой у стен разрушенного замка сарацинов. Однажды, узнав, что на паровозе едет его тезка Антуан, машинист позволил четырехлетнему мальчугану прокатиться в кабине паровоза. В течение многих дней после этого любой клочок бумаги или картона в шато «Ла Моль» превращался в поезд. На этом приобщение к чудесам современного транспорта не завершилось, и на следующий год каждый обломок скалы вокруг шато становился автомобилем, которым Антуан управлял так, как если бы ехал на лошади.

Особую память сохранил он о юных радостях Рождества, когда царил «свет рождественской елки, музыка полуночной мессы, мягкость улыбок окутывала подарки священным сиянием». Ибо даже день, когда солнце, и пчелы, и цветы полны были радостного удивления, не шел ни в какое сравнение с волшебным таинством ночи. «И когда луна вставала на небосклоне, – написал Антуан в одной из первых книг, – вы брали нас за руки и просили прислушаться к звукам земли, они давали нам уверенность, с ними было так хорошо. Вы были так надежно защищены этим домом в роскошном облачении из окружавших его земель. У вас были особые отношения с дубами и липами, отарами овец, что мы называли вас принцессой. Постепенно ваше лицо смягчалось, как все вокруг, чтобы предаться ночному отдыху. Фермер пригнал животных. Вы знали об этом по свету отдаленных огней в конюшне. Громкий звук – закрывают водоводы. Все было в порядке. Наконец и семичасовой экспресс промчался в сумерках и исчез, подобно лицу в окне спального вагона, освобождая ваш мир от всего, что беснуется, движется и знаменует зыбкость окружающего мира. И ужин, накрываемый в столовой, слишком большой и плохо освещенной, где вы (а мы, словно шпионы, наблюдали за вами) становились королевой ночи».

Это могли быть его мать, сестра, кухня, приехавшая гостя или его первая детская любовь. Не имеет значения кто, но место узнаваемо – Сен-Морис-де-Реманс. После аварии в аргентинской сельве Антуан де Сент-Экзюпери оказался в гостях в ветхом особняке, где змеи вползали через отверстие под столом в гостиную. Возможно, кто-то другой, обладающий не столь романтической душой, испугался бы, но не Антуан, который внезапно унесся назад, в очарование своей юности. «Переходя из одной комнаты в другую, будто там все было намазано миром, я вдыхал запах старой библиотеки, который ценнее всех ароматов мира. Больше всего я любил смотреть, как переносят лампы. Настоящие тяжелые лампы... Их несут из одной комнаты в другую, как во времена моего самого раннего детства, и они отбрасывают изумительные тени на стены. Мы подняли снопы света и смели потолки над нами черными пальмами».

Как только ночная тьма начинала сгущаться, лягушки оглушали окрестности своим кваканьем и фонарщик Сен-Мориса отправлялся в путь со своим небольшим прутом и лестницей, зажигая масляные лампы одну за другой. Он также не был забыт, когда молодой Антуан растворился во взрослом Сент-Экзюпери. Спустя годы он вновь появляется, этот безымянный фонарщик, в «Маленьком принце». И когда Маленький принц спрашивает его, почему он делает свое дело, тот отвечает с простотой, которую графиня Трико инстинктивно поняла бы: «Так надо». Таков приказ.

Вначале было слово... Но оно было приказом, и первая обязанность человека – повиноваться.

Глава 2

Поэт и проказник

Осенью 1909 года Мари де Сент-Экзюпери покинула Сен-Морис-де-Реманс и переехала со своими пятью детьми в Ле-Манс. Антуану, к тому времени уже успевшему освоить азы французской грамматики и арифметики в дневной школе в Лионе, исполнилось девять лет. Настало время отсылать его в Нотр-Дам-де-Сен-Круа, семинарию ордена иезуитов, в которую в свое время поступили его отец Жан в 1872 году и его дядя Роже в 1877 году. Дедушка Антуана, Фернан, после своей вынужденной отставки с государственной службы в 1871 году осел в Ле-Мансе. Ле-Манс также стал домом для нескольких его тетушек.

Первоначально семья происходила из районов, расположенных намного южнее, хотя если кто-то хочет поговорить о корнях генеалогического древа, то следы их теряются где-то в Средних веках, за исключением ветви семьи Метусела. Первым из носивших фамилию Сент-Экзюпери, или, точнее, Экзюпериус, принято считать епископа города Тулузы, жившего в V столетии, чьи останки или то, что считается его останками (включая митру), захоронены в склепе, построенном из красного кирпича в стиле базилики Сент Сернан (датируемой несколькими столетиями позже времени епископа). Он, очевидно, был в хороших отношениях с Сент-Жеромом, который сделал ему посвящение в своих «Комментариях к Книге Захариаса», поддерживал дружескую переписку с папой римским Иннокентием I. Документальные свидетельства о том, оставил ли он после себя потомство, отсутствуют, поскольку его имя, если придерживаться истины, являлось скорее личным именем, а не родовым именем, так же, как и в случае с другим Экзюпериусом, известным ранее и служившим наставником у племянников Константина Великого. Латинское происхождение этого имени (*ex-supereius* (превосходящий других), или, если еще углубиться, *ex-supereance*, побеждающий), очевидно, как и у множества других ранних французских святых, подобно Сернану (сокращение от *Saturninus*), Сильвиусу, Илаиру (общительный) и тому благословлявшему веру Фидису из Ажена, который впоследствии превратился в Сент-Фу из Конке и Санта-Фе из Новой Мексики. Хотя он не стал объектом сопоставимого по значимости культа. Сент-Экзюпери длительное время равно почитался с Сент-Сернаном, первым епископом-мучеником из Тулузы. Да и спустя четыре или пять столетий память о его добрых делах была все еще достаточно сильна, чтобы вдохновлять прихожан (или, во всяком случае, священников) общины, расположенной где-то на полпути между Виши и Лиможем, выбрать его своим покровителем в те безумные времена Содомы и Гоморры, вслед за крушением империи Карла Великого.

Но если добропорядочные селяне считали, будто достойное место их покровителя Сент-Экзюпери в иерархической лестнице святых окажется достаточным, дабы уберечь их поселок от жертв, насилия и разрушений, то они, увы, ошибались.

Было слишком наивно надеяться на это в те темные и бесправные годы. К тому же городок Сент-Экзюпери, как он стал к тому времени именоваться, имел несчастье оказаться на спорной пограничной полосе между двумя землями – Лимузин и Овернь. Расположенный на плато в двух лье от города Уссель, он, вероятно, представлял достаточный стратегический интерес для Генриха II Английского после брака последнего с Элеонорой Аквитанской. В результате городок превратился на несколько веков в арену битвы между французскими и британскими рыцарями. На господствующей высоте был построен замок, но, что достаточно любопытно, ни один из его обитателей, с 1248 года до наших дней, не носил фамилии Сент-Экзюпери. Один из них, некто Марсель Америго, перейдя на сторону британцев, использовал крепость для хранения добра, добытого несправедным путем, был захвачен в плен французами и казнен в Париже в 1392 году. Замок был разграблен победителями и снова предан огню в 1454 году. Восста-

новленный и отреставрированный поздними поколениями, он получил свой окончательный приговор в 1791 году, когда ярые революционеры из Усселя уничтожили все, кроме камней, позже использованных для строительства новых зданий.

Это все, что касается географии.

Исторически же первое упоминание о местном землевладельце по фамилии Сент-Экзюпери обнаружено в инвентарной книге, которую вели в монастыре Ла-Сольер, в епархии Бривс, где сказано, что «в 1235 году Раймон де Сент-Экзюпери, шевалье, лично передал настоятелю монастыря Ла-Сольера источник Лодерье и разрешение прорыть канал через его землю». Последующие документы указывают, что он и его потомки стали владельцами земель, расположенных в округах Сент-Фероль и Сент-Жермен-ле-Вернье, добрых пятьдесят миль к юго-западу от родного городка Сент-Экзюпери, откуда, возможно, они происходили. Согласно одному из найденных пергаментов, внук Раймона, Гийом де Сент-Экзюпери, получил 740 су от своего брата Гуго и сестры Петронеллы, которым завещал все свое имущество, «на посещение Гроба Господня», как написано на причудливом языке ок (местный лангедокский диалект южнофранцузского провансальского языка, до сих пор используемый жителями тех мест). Нет иных свидетельств, подтверждающих, что Гийом действительно совершил паломничество к Гробу Господню в Святой земле, но это дало достаточно оснований поздним поколениям настаивать, что семья происходит от участников крестового похода – во Франции непереносимое условие подтверждения благородного происхождения.

Не то чтобы эти факты имели какое-либо значение. Позже Сент-Экзюпери приобрели замок Мирмонт, вблизи Морьяка, оказавшийся ближе к их прародине. Но последующие поколения, кажется, продолжили все тот же дрейф в юго-западном направлении, подальше от Лимузина и Овернье в глубь Перигора и Дордони. В XVII столетии Жан Бальтазар де Сент-Экзюпери смог похвастаться гордым титулом сеньор де Руфиньяк – провинции, которая с тех пор стала Меккой для паломников, любящих посещение гротов. Один из замков семейства, находившийся во владении Сент-Экзюпери в течение пяти столетий, расположен в Ле-Фрейсе, который стоит ближе всех к Лассо и его доисторическим фрескам. Дедушка прадеда Антуана, Жорж Александр Цезаре, родился в Муассаке, и в течение нескольких столетий старшие сыновья этой ветви семейства могли называть себя графами де Сент-Аман и занимать замок в провинции Кагор.

В основном они, похоже, оставались типичными представителями сельского дворянства, владевшего богатой лишь камнями и изрытой пещерами землей Аквитании. Сохранилось предание (или, скорее всего, легенда), будто прелат с фамилией Сент-Экзюпери обладал значительным влиянием в совете при Марии-Антуанетте, где его высоко ценили как восхитительного и обаятельного собеседника. Этот чаровник в любом случае не был одним из предков Антуана, в отличие от галантного Жоржа Александра Сезаре де Сент-Экзюпери, который отплыл на борту «Тритона» в 1779 году и участвовал в сражении против Родни на Антилах. Он вернулся годом позже в Йорктаун, как раз чтобы стать свидетелем капитуляции Корнуоллиса – этот эпизод он описал своему командиру, герцогу де Ларошфуко (потомку известного автора «Максим»). Его героические деяния как ветерана американской революции не помогли ему в 1793 году, когда он был арестован приспешниками Робеспьера и заточен в тюрьму недалеко от Бордо на девятнадцать месяцев вместе с женой, дочерью французского капитана военноморского флота, так как она считала, что должна разделить его участь. Позднее они перебрались в Париж, где их сын, Жан-Батист, был назначен чиновником в Военно-тыловом ведомстве Людовика XVIII. У придворного оказалась неплохая деловая хватка. Это доказывает хотя бы такой факт: Жан-Батист избавился от не приносящего дохода замка в Сент-Аман, приобретя взамен собственность недалеко от Марго, в стране вин Бордо. Горечь расставания с титулом и парой башенок, которую он, возможно, испытывал, удалось благополучно утопить в больших бочках вина «Мальскот-Сент-Экзюпери», справедливо уважаемого знатоками.

Единственный сын Жана-Батиста Сезара де Сент-Экзюпери, Фернан, стал дедушкой Антуана. Отказавшись от залитых солнцем виноградников Бордо после того, как Луи Наполеон назначил себя императором Франции в 1851 году, Фернан оказывал услуги кое-кому из придворных министров и был назначен субпрефектом четырех различных департаментов. Связывавший свое благополучие слишком тесно с теми, кто правил при Второй империи, он вынужден был распрощаться с административной деятельностью в сентябре 1870 года, накануне своего тридцать седьмого дня рождения.

После Франко-прусской войны Фернан на некоторое время отошел от дел и проживал в Турене (окрестности Тура), где его бабушка по фамилии Ташро когда-то унаследовала поместье. Но все еще полный жизненной энергии, он бросился на поиски чего-то менее сомнительного, чем политика или война, и, наконец, нашел занятие по душе, создав страховую компанию с веселым названием «Компани дю Солей» («Солнечная компания»). Работа, возможно, была лишена блеска, но она давала чувство уверенности и безопасности в той, вероятно, казавшейся упавшему духом империалисту слишком шаткой и сомнительной республике. Он определил себе место жительства в Ле-Мансе, в то время как сыну Жану (отцу Антуана) было позволено «перебеситься», отдав дань увлечениям молодости, на службе в драгунах в Туре. По мере того как звон шпор и блеск эполет стал мало-помалу приедаться, усатый кавалерист-рубака начал прислушиваться к благоразумным родительским советам и согласился вложить свою долю в ценные бумаги с золотым обрезом «Компани дю Солей», предоставив своему младшему брату Роже возможность заняться шагистикой, которую тот и начал постигать в офицерском училище в Сент-Сире. Судьба, видимо, избрала его для встречи и последующей женитьбы на темноволосой и жизнерадостной Мари де Фонсколомб, поскольку страховой компании вдруг понадобилось отправить будущего отца Антуана с бумагами в Лион.

Еще в молодости Фернан де Сент-Экзюпери шеголял широкой темной бородой лопатой, наподобие вошедших в моду у поколения Авраама Линкольна и Гарибальди. С тех пор она полностью поседела, как и все больше сужающиеся островки волос на висках и за ушами. Вместе с массивной головой это придавало ему патриархальный облик. Он старался проявлять властность, как и положено этакому «отцу семейства», главе аристократической семьи, где было семеро детей, и бывшему должностному лицу эпохи Второй империи. Возвращенный в преобладающе матриархальной обстановке, молодой Антуан не привык к таким проявлениям патриаршей власти, и это приводило к частым недоразумениям во время их встреч. «Моего дедушку и Антуана, – вспоминал позднее один из его кузенов, – роднила одна черта: как все выходцы из средиземноморских провинций, они любили поговорить. Но мой дедушка хранил глубокое убеждение: слово имеют право получать только взрослые, в то время как детям следовало лишь покорно их слушать, не перебивая. Антуан же вовсе не считал, будто молчание – удел юности. Этот конфликт мнений стал причиной многочисленных взаимных обвинений и упреков, поскольку у Антуана всегда был наготове рассказ или обстоятельные пояснения».

Мари де Сент-Экзюпери, похоже, тоже с трудом приспособилась к семье своего умершего мужа и нагонявшему тоску провинциальному городу Ле-Манс. Дом, покрытый серой штукатуркой, который она и пятеро ее детей занимали на углу улиц Клос-Марго и Фонтен, представлял собой одно длинное помещение (хотя и состоявшее из нескольких вытянутых в длину друг за другом комнат), и в нем оказалось не намного больше места, чем в их квартире в Лионе. Позади дома находился сад величиной с почтовую марку, где нашли уголки лишь для нескольких вьющихся роз, пары плодовых деревьев и лужайки в двадцать ярдов – жалкой пародии на просторный парк в Сен-Морисе.

В сотне ярдов по этой же улице находился дом Поля Готье, студента дневного обучения, который вместе с Антуаном ходил в колледж Сен-Круа. Поскольку прогулка до школы занимала обычно двадцать – двадцать пять минут, мальчики, как предполагалось, должны были встречаться в 7.30, чтобы успеть на занятия, начинавшиеся в 8 часов. Но почти каждое

утро, между шестью и половиной седьмого, раздавался звонок в дверь. Услышав его, горничная Готье из Бретани произносила: «Это, должно быть, месье Антуан». Она открывала дверь, и маленький школьник с непослушной копной волос и слегка приспущенным правым веком спрашивал: «Скажите, который сейчас час?» Иногда добавлял извиняющимся тоном: «У нас дома нет часов». В действительности в небольшом доме на углу улицы Клос-Марго часы были, но маленький Антуан рос слишком щепетильным и не желал признаться, что они не ходили.

Готье, в течение двух лет сидевший в одном и том же классе, вспоминает приятеля «круглолицым, со вздернутым носом, улыбчивым и в то же самое время резким и угрюмым, плохо причесанным, со взъерошенными волосами, с почти всегда криво повязанным галстуком и торчавшим воротником формы – словом, не отличавшимся аккуратностью школьником из числа тех, кто, подобно многим другим, имеет чернильные пятна на пальцах». Однокашники окрестили его Татаном – производное от «Антуан». Прозвище вызывало в нем меньше возражений, нежели Лунатик, присвоенное ему позже за его манеру ходить глядя в небо и лунатическую мечтательность, в которую он мог впасть средь бела дня.

До нас дошли два ранних письма Антуана, написанные в первый год обучения в колледже Сен-Круа. Второе из них стоит воспроизвести, поскольку явная пронзительность его описания посещения бенедиктинского аббатства Сольмес – неясное тогда еще предчувствие многообещающего литературного таланта. Письмо написано в начале лета 1910 года, когда его мать возвратилась в Сен-Морис-де-Реманс, оставив сына на попечение гувернантки и теток Анаис и Маргариты, сестер его отца, которые жили недалеко от них в премилом доме времен Директории.

«Дорогая мама,

Мне бы так хотелось увидеть вас снова. Тетя Анаис пробудет здесь месяц. Сегодня я ходил с Пьеро в дом пансионера Сен-Круа. Мы выпили чаю и много смеялись. Утром в школе я причастился. Вот что мы делали во время паломничества: без четверти восемь нас всех собрали в школе. Мы построились и отправились на станцию. На станции мы сели в поезд до Сабля. Там пересели на конку. До Нотр-Дам-дю-Шен набралось более 52 человек в одном вагоне. Собрались лишь школьники, некоторые разместились на крыше, остальные внутри, вагоны были очень длинными, и каждый тянули две лошади. В вагоне мы много шалили. Всего было пять вагонов: два – для мальчиков из хора и три – для школьников. По прибытии в Нотр-Дам-дю-Шен мы прослушали мессу, а позже пообедали...

После обеда мы посетили могилы святых, затем пошли в церковную лавку и кое-что себе купили. После этого 1-я и 2-я группы, и я в том числе, пошли пешком в Сольм.

В Сольме мы продолжали идти к подножию аббатства. Оно показалось огромным, только мы не смогли посетить его, потому что у нас не было времени. У подножия аббатства мы нашли много осколков мрамора. Большие и маленькие... Я набрал штук шесть и выкинул еще три. Там был обломок приблизительно полтора на два метра. Ребята смеялись: положи его себе в карман. А я не смог даже его подвинуть... Потом мы выпили чаю на природе в Сольме. Я написал вам восемь страниц.

Позже мы пошли за благословением и построились рядами для пути на станцию. Там мы сели в поезд, чтобы возвратиться в Ле-Манс, и вернулись домой в 8 часов вечера. Я был пятым по сочинению по катехизису.

До свидания, моя дорогая мама. Целую вас от всего сердца.

Антуан».

Эта экскурсия доставила ему исключительное удовольствие, на время спасла от нудных и утомительных занятий, вгонявших в тоску. Приблизительно половина из 250 мальчиков, посещавших колледж Сен-Круа, являлись пансионерами, но Антуан к их числу не относился. Его

сверхчувствительная натура, похоже, страдала от того скрытого презрения, с которым пансионеры относились к приходящим на день слушателям. Дисциплина в классной комнате была суровой, и Антуана регулярно наказывали за пассивность и апатию, пятна чернил на пальцах, недостаток внимания и безразличие во время занятий, за невероятный наклон крышки парты, нещадно переполненной книгами, записными книжками и различными бумажками, отчего она едва закрывалась. Его преподаватели из ордена иезуитов, начиная с аббата Перу, с буравчиками глаз, придирчивого сторонника строжайшей дисциплины, муштровавшего учеников пятого года обучения по латыни, греческому и французскому, видели мало пользы в его фантазиях и склонности отвлекаться от темы и чаще всего грубо обрывали их. Годы спустя воспоминания об этом унижении оставались все так же яркие и живы в памяти Антуана, когда он написал матери: «Вы – единственное утешение, когда взгрустнется. Будучи ребенком, я часто приходил домой со своим тяжелым ранцем на спине в слезах от наказаний, помните, как это было в Ле-Мансе? И вы заставляли меня забыть обо всем, лишь обнимая и целуя».

Четвертый класс требовал меньше усилий, несносный Перу уступил место аббату Марготта, который был менее дисциплинированным и более одухотворенным. Мальчики называли его Удав: время от времени он не мог сдерживать широкие зевки. Но поводов для зевания во время его занятий у самих ребят было немного. Сын скромного плотника, он сумел продвигаться до вершины академической лестницы, получив требуемую лицензию на преподавание, по мере этого продвижения пристрастился к литературе, особенно французской, и своей увлеченностью охотно делился со слушателями. Макс де Виллутре, еще один одноклассник Сент-Экзюпери, очень живо и ярко вспоминает энтузиазм своего наставника в отношении французской литературы XVII столетия и его неистощимые рассуждения о Мольере.

Аббат Лоне, отвечавший за третий класс, являлся классицистом, чья огромная эрудиция отвечала прозвищу Кесарь, которым его наградили школяры. На фотографии, сделанной в 1914 году, он стоит в окружении шестнадцати мальчиков из Сен-Круа (включая Сент-Экзюпери) в жестких воротниках, как у студентов Итона, с повязанными шейными платками Лавальера и прусской синей форме с золотыми пуговицами. Разглядывая этого коротко стриженного человека с бескомпромиссным взглядом, вы не заметите признаков даже самой слабой тени улыбки на его мрачном морщинистом лице. И все же мы можем быть благодарны этому неулыбчивому прелату за то, что однажды он захотел проявить остроумие ума и дал своим ученикам необычную тему сочинения: «Расскажите о злоключениях цилиндра». Тринадцатилетний Антуан с удовольствием отдался теме, и этот образный рассказ стал первым ясным признаком его будущего таланта.

«ОДИССЕЯ ЦИЛИНДРА

Я родился очень давно на большой шляпной фабрике, где делали шляпы всех видов. За нескольких дней, предшествовавших моему появлению, я подвергся всем видам обработки, чтобы не сказать – пыток: я был уменьшен, растянут, отлачен. Наконец, однажды вечером, меня отправили вместе с моими братьями самому известному шляпнику в Париже и там поместили в витрину. Я оказался одним из самых красивых цилиндров на стенде. Я так сиял, что женщины, шпионившие за мной, не забывали восхищаться своим отражением в моем блеске. Я был настолько изящен, что ни один модно одетый джентльмен не прошел мимо, не бросив на меня алчного завистливого взгляда. Я спокойно ожидал своего часа, когда стану блистать в свете.

И вот красиво и богато одетый джентльмен вошел в магазин. Преисполненный заботливого внимания продавец сделал все, чтобы покупатель восхитился моими братьями, затем продемонстрировал меня, намного дольше, чем других: разве я не был самым красивым? Наконец клиент выбрал меня, повертел, осмотрел и купил. Из кармана он вынул бумажник,

так богато украшенный, что продавец продал меня за двойную цену. Его жизненным принципом было – никогда не упускать своего шанса... или банкноты.

На следующий день я наслаждался блестящим выходом в свет. Мой владелец, одетый с отменным вкусом господин, надел меня, чтобы идти в клуб. Все его друзья восхищались моими восемью отражениями, моей изящной формой и прочими достоинствами. В течение нескольких месяцев я вел восхитительное существование. С особой заботой я сохранялся и чистился! Преданная прислуга, отвечавшая за гардероб моего господина, проявляла похвальную заботу обо мне. Я бывал отполирован каждый вечер и заново отполирован по утрам.

Однажды вечером я узнал, что извозчик собирается жениться. Мой хозяин, который пожелал сделать ему подарок, отдал меня ему, и с того момента я прикрывал иной череп. Увы! Моя жизнь полностью изменилась. Трижды в первый день я проездился по пыли и грязи, и – о, жестокая судьба! – меня даже не почистили. Переполненный справедливым желанием отомстить, я подсел, да так, что возница больше не смог надеть меня на голову! Тогда однажды он взял меня под мышку и продал всего за шесть су какому-то продавцу одежды. Это был жуткого вида старик-еврей, слегка изогнутый нос выделялся на его лице, носившем отпечаток лживости и злобы. После того как меня почистили, я был снова выставлен в витрине, но на сей раз небрежно подвешенный на грязной веревке. «Матье! Заходи!.. Ты искал шляпу для парадного выхода; тебе повезло, есть такая, которая будет тебе очень к лицу!» И Матье купил меня, Каролина же, его жена, пришла в восторг от моего блеска. Только по воскресеньям я выходил из дому, и лишь тогда, когда на небе не было ни облачка. Так по цене два франка и сорок пять сантимов, отданных за меня, я приобрел особую заботу о себе.

Но однажды во время прогулки Каролины и Матье по набережной Сены сильный порыв ветра сорвал меня с головы хозяина, и я полетел, подобно птице. После нескольких мучительных секунд ужасного полета я приземлился на реку и тихо поплыл в обществе рыбы, с испугом смотревшей на меня, как на новую модель лодки. Внезапно я почувствовал, как меня подтягивают длинным шестом и вытаскивают на набережную. Затем ободраный старьевщик схватил меня нетерпеливыми жадными руками, и скоро я подвергся новым пыткам в темной, грязной лачуге, которая, как оказалось, была магазином главного шляпочника-поставщика двора их величеств королей Африки.

И вновь я был упакован, и так, обернутый в мягкую бумагу и уложенный в картонную коробку, путешествовал несколько дней. В одно прекрасное утро я открыл глаза на свет, и страх пронзил меня от вида множества неизвестных темнокожих существ. Большую часть их лиц занимали огромные губы, а единственной одеждой были старомодные купальные трусы и кольца в носах и ушах. Чуть в стороне на коробке из-под бисквитов восседал один из этих странных людей. В руке он держал скипетр, сделанный из щетки-сметки, потерявшей все свои перья, а на спине у него красовалась шкура льва, которого он, без сомнения, однажды убил с храбростью, равной его гигантским размерам. Я был с уважением подхвачен двумя черными руками: меня объял ужас, и, только заметив, что руки не красятся, я несколько ободрился. Затем я был водружен на вершину черной массы, являющейся королем. И здесь я

провел еще несколько счастливых дней. Иногда чрезмерно горячее солнце плавало лак, которым я был покрыт, а практичный ум моего владельца порой подсказывал ему использовать меня как кастрюлю... Но я все еще живу достаточно комфортно, украшая голову ужасного Бам-Бума, самого сильного правителя в этих краях.

Я пишу эти строки на склоне моих дней с надеждой, что они достигнут берегов Франции. Французы должны знать, что я живу в стране, где головные уборы никогда не выйдут из моды, и, когда, вопреки всему, я переживу свою полезность, то буду надеяться на уважение к себе как к реликвии, которая украшала макушку моего прославленного хозяина Бам-Бума II – короля Нигера.

Антуан де Сент-Экзюпери».

Аббат Лоне, очевидно, подпал под обаяние этого необычного рассказа, поскольку поставил за него сначала 13 баллов, позже изменив их на 12 (из 20), добавив сухой комментарий: «Хорошо. Слишком много грамматических ошибок. Стиль иногда тяжеловат». Без сомнения, рассказ утрирован и полон предвзятости, что характерно для школы, где учились дети из высшего света. Но передача настроения и скрытый юмор налицо – как в описании порыва ветра, вмиг сорвавшего цилиндр, птиц, скипетра из щетки-сметки, растерявшей перья, и этих протянутых к цилиндру рук, чья устрашающая чернота не стиралась, подобно грязи, и не красилась.

Как и следовало ожидать, мальчик, рожденный сыном графа, чей дедушка служил самому императору, Антуан де Сент-Экзюпери воспитывался в католической и монархической традиции. Его тетя Анаис была камеристкой герцогини Вандомской (сестры бельгийского короля Альберта), тогда как отделение французского Красного Креста, к которому принадлежала его мать и который возглавляла мать одного из его одноклассников (мадам Шапе) были, в сущности, отличительными свойствами благотворительной деятельности аристократии, испытывавшей гораздо больше доверия к «трону и алтарю», чем счастливую судьбу народной республики. В Европе повсюду еще господствовал старый порядок, монархический или имперский, и Франция являлась скорее радикальным исключением, нежели правилом. В ее собственном доме царил разлад – не только из-за аферы Дрейфуса, хотя и это само по себе было плохо, но также из-за триумфа воинствующего антиклерикализма, который в 1905 году привел правительство Комбе к изданию декрета об отделении церкви от государства.

Последствия чувствовались повсюду, и не в последнюю очередь в стенах колледжа иезуитов Сен-Круа, который проиграл начатый им самим судебный процесс, пытаясь выиграть время. Это поражение, произошедшее на втором году обучения Антуана, вероятно, не причинило молодому Сент-Экзюпери сильного огорчения. Предполагался переезд из зданий барачного типа, которые школа занимала на улице Нотр-Дам (помещения были отданы штабу 4-го военного округа), в заваленные листвой уголья бывшего монастыря капуцинов. Но пришлось бы долго искать среди многочисленных отцов-иезуитов, управлявших школой, хоть слабую симпатию к безбожному режиму, обрушившему на них столько горести. Те же самые антиреспубликанские убеждения разделяло большинство мальчиков в Сен-Круа, почти все они были выходцами из высших слоев общества. Они также, что естественно, разделялись молодым Антуаном, который даже основал комитет роялистов, где стал председателем. Однажды, когда его попросили сделать запись в альбом для автографов Поля Готье, он взял перо и написал, словно шевалье Байард: «За Бога, короля и прекрасную даму».

Шесть лет, проведенные Сент-Экзюпери в Ле-Мансе, были далеко не самые счастливые в его жизни. К немногим ярким воспоминаниям, сохраненным им с той поры, относились ежемесячные прогулки, которые его семья устраивала в шато «Пассе», в пятнадцати милях к северо-востоку от города. Взбираясь на местный поезд – «трубач», как дети в шутку его называли, пересекавший местность змеевидным маршрутом со множеством станций по пути

следования, – они выходили на станции у деревни Силь-ле-Филипп и шли к шато. То было внушительное, с высокой крышей здание, с двумя роскошными крыльями, построенными в классическом стиле Людовика XIII, окруженное просторными полями и небольшим озером, где дети плавали, крича и смеясь, на лодках или участвовали в псевдovoенно-морских баталиях. Владелец замка, граф де Синети, сам имел несколько внуков, которые учились в колледже Сен-Круа, а также внучку, Одетт де Синети, милую светловолосую девочку с яркими синими глазами и очаровательной улыбкой.

Она считалась чем-то вроде признанной красавицы среди ровесников, и всякий раз, когда она приходила на воскресную службу в часовню колледжа Сен-Круа, превращалась в центр внимания для мальчишеских глаз и становилась причиной многих, далеко не божественных переживаний. По мере того как мальчики заполняли часовню, одетые в нарядные воскресные костюмы, она наклонялась к младшей сестре Антуана, Габриэлле, сидевшей рядом с ней на скамейке: «Посмотрим, повернется ли Ксавье (или Жан-Клод, или Пьер)... и посмотрит ли на меня». И когда неспособный обуздать свои чувства подросток смотрел в их сторону, обе девочки хихикали с язвительным удовлетворением.

И хотя Одетт де Синети была старше Антуана больше чем на два года, пришел и его черед, и он проводил часы в ее обществе, читая ей наизусть поэмы и обсуждая с ней потрясающее новое изобретение – аэроплан. Сохранилась очаровательная фотография ее сестры Рене, танцующей старинный испанский танец павана с Антуаном в саду ее матери в Ле-Мансе. Рене – в пастушьем наряде Марии-Антуанетты (почти весь сделан из бумаги), а ее партнер – в парике XVIII века и жабо, нацепленном на его школьную форму, в то время как младший брат Рене Элизар, в парике и бриджах, проказливо выглядывает между ними.

«Антуан любил природу, – вспоминает Одетт, – и он мог долго разглядывать мотылька или бабочку. Очень сочувствовал всякому живому существу. Никогда не помышлял убивать животных, а если замечал птицу, прыгающую рядом, то обязательно спрашивал: «Скажите, о чем она думает прямо сейчас?»»

В небольшом альбоме Одетт, которые по моде того времени имели молодые барышни, Антуан записал ей два стихотворения. В одном («Смерть лебедя») описание предсмертной песни птицы, в другом («Крик охотника») – смерти оленя.

Вот громко слышен рог. Вот стихнул он вдали —
И стон, дрожа, несут леса за край земли,
А на траве, что вся в крови,
Олень – он умирает. Рог кричит: «Живи!» —
Гудит, поет... А человек, охотой счастливый,
Встает, глядит окрест – спокойно, горделиво.

Юноша далеко не Жерар де Нерваль или даже Ламартин. Но две заключительных строфы, описывающие охотника, гордо поднимающего голову («счастлив победить животное»), уже предполагают глубоко сокрытое чувство Сент-Экзюпери, которое проявит себя в описании победы над быком в знаменитой главе, посвященной мужеству, в «Планете людей».

Первое юношеское увлечение, кажется, воодушевляет его на поэтическое творчество, поскольку чуть позже, в том же 1913 году, Антуан решил выпустить частный журнал под названием «Эхо третьего», составленный из материалов, переданных одноклассниками. Тщательно переписанные на листы красивой бумаги, они склеивались вместе в небольшую книжку. Согласно воспоминаниям Клода де Кастильона, одного из иллюстраторов журнала, последний, в подражание тогдашним еженедельникам, даже популяризировал экстравагантные рецепты приготовления пищи и публиковал рекламные объявления, подобные вот такому: «Скажем «нет» ниткам и булавкам, поддерживающим ваши брюки. ПОКУПАЙТЕ фигурные скрепки!»

Несколько поэм Сент-Экзюпери были включены в первый выпуск, который, как оказалось, стал и последним. «Он передавался из рук в руки, – вспоминает Макс де Виллутре, – и поскольку вызывал прилив веселья, а читался на занятиях, то тайна просуществовала недолго. Журнал был изъят на уроке аббата Деробера, который не выносил Сент-Экзюпери – подстрекателя, как он обычно называл этого ученика за мальчишеские шалости. Издание конфисковали, и мы никогда не увидели его снова. Никто не знает, что с ним случилось».

* * *

28 июня 1914 года эрцгерцог австрийский Франц-Фердинанд с супругой были убиты в Сараеве, и не прошло и полутора месяцев, как пять основных государств Европы оказались уже в состоянии войны. Это изменило жизнь континента: последствия военных действий ощутили даже в самых забытых его уголках. Прежде чем закончился август, убили дядю Антуана Роже де Сент-Экзюпери: он погиб, подняв в атаку пехотный батальон в Мессене. Двое из кузенов матери Антуана, Гай и Роже де Лестранж, чьей верховой ездой так часто восхищались жители Сен-Морис-де-Реманс, отправились на фронт верхом на своих лошадях и никогда не возвратились. Сама Мари, после окончания курсов Красного Креста в Ле-Мансе, была назначена старшей медсестрой в госпитале, устроенном на вокзале в Амберье. Едва тяжелые обязанности легли на ее плечи, пришло письмо от ее друга-скульптора, которого она сильно любила. «Я уезжаю на фронт, унося в своем сердце все, что так долго в нем покоилось». Она стояла вся в слезах, когда подошел начальник станции и сказал: «Мадам, поезд, полный раненых, вот-вот прибывает. Поступила просьба о носилках – случай столбняка». Она больше никогда не видела своего друга-скульптора. Международная катастрофа, позже ставшая известной как Первая мировая война, началась.

Она задела Антуана, как и всех остальных. Он провел не очень счастливый предвоенный год в Ле-Мансе. Они с братом Франсуа жили у своей тети Маргарет на улице Пьера Белона, в милом доме времен Директории. Но на следующее лето все мысли о возвращении в Ле-Манс, который, впрочем, никто в семье особенно не любил, пришлось оставить. Вместо этого Мари де Сент-Экзюпери решила перевести обоих сыновей в другую школу иезуитов, расположенную ближе к дому: колледж Нотр-Дам-де-Монгре, расположенный в Вильфранш-на-Соне к северо-востоку от Лиона. Он понравился двум мальчикам не намного больше, чем колледж Сен-Круа в Ле-Мансе. После одного несчастного семестра мальчиков оттуда забрали.

Факт их пребывания там едва бы стоил упоминания, но сохранились воспоминания об этом кратком периоде в школе двух одноклассников Антуана, продолживших обучение и ставших впоследствии священниками. «Он не был первым в своем классе, не блистал и в учении, – рассказывал отец Луи Барджон Элен Элизабет Кран в 1951 году. – Он оказался хорошим малым, его все любили, но он особенно не выделялся среди остальных. Он был прежде всего мечтателем. Я помню его, обхватившим рукой подбородок, задумчиво не спускавшим глаз с вишневого дерева за окном. Мы называли его «Зацепи Луну носом». Я сохранил впечатление о нем как о скромном мальчике, который был оригинален, но не производил впечатление книжного червя. Все это перемешивалось со случайными взрывами радости, избытком чувств. Антуан писал стихи. Я вспоминаю, прежде всего, одну его поэму о смерти лебедя, явно навеянную Ламартином. Стихи, конечно, были стихами подростка, полного романтизма и некоторой наивности. Но мы восхищались поэмой».

Албан де Шерфаньон, другой из его одноклассников в Монгре, позже вспоминал его как «очень одаренного мальчика, но, возможно, не очень последовательного в своей работе. Я вспоминаю, как... он писал эпические поэмы с большим воодушевлением, о войне и, особенно, о Вильгельме II, дополняя их карикатурами. Они были оригинальны и очень жизненны. Он имел экстраординарную способность сочинять и рисовать»...

Одна из этих поэм о кайзере сохранилась, в отличие от рисунков, которые первоначально иллюстрировали ее. В ней немецкий император изображен ликующим от созерцания Реймса в огне.

Вот маршал рядом с ним. Он грозно говорит:
«Что уцелело здесь? Ведь все вокруг горит». —
«Собор, о сир». — «А госпиталь?» — «Пылает». —
«А ваша армия, мой сударь?» — «Отступает».

Новость, что армия панически отступает, в то время как Реймский собор был сохранен, вызывает у кайзера приступ страшной ярости. «Измученному, ему предстоит ужасная ночь», и он приказывает начать бомбардировку.

И дрогнул рот. И побледнел, глядит в упор.
«Приказ: чтоб завтра был разрушен и собор!»

Эхо творчества Ламартина, как можно заметить, в данном случае уступило интонации героических битв Расина и Виктора Гюго, но нельзя сказать, что это благоприятно сказалось на результатах.

Школа, куда Антуана с братом затем перевели, называлась Вилла-Сен-Жан, во Фрибуре. Ряды преподавателей в лицах и даже католических колледжах редели по ходу военных действий, и Мари де Сент-Экзюпери справедливо предчувствовала, что обоим ее сыновьям будет лучше под небом нейтральной Швейцарии. В отличие от Сен-Круа в Мансе и Монгре, находившихся в ведении ордена иезуитов, Вилла-Сен-Жан управляли отцы ордена марианистов, поддерживавшие тесные связи с известным колледжем Станислава в Париже. Многие из его преподавателей – начиная с отца Франсуа-Жозефа Киеффера, основателя школы, – были выходцами из Эльзаса, предпочитавшими скорее эмигрировать во Францию или Швейцарию, чем продолжать жить в пределах границ рейха кайзера Вильгельма. Эта мысль нашла отражение в книге, написанной на рубеже столетий и названной «Почему победа досталась англосаксам?». Французы все еще страдали от поражения во Франко-прусской войне, к которому добавилось унижение, испытанное в 1898 году в Фашода. Если британцы побеждали, а французы позорно проигрывали, то это объяснялось только некоторым превосходством в англосаксонской образовательной системе. Французские образовательные методики необходимо было обновить за счет контакта с другой культурой, и Фрибур, расположенный в зоне влияния двух языков (немецкого и французского), казался идеальным местом для эксперимента.

Само лечение, как часто случается, имело мало общего с первоначальным диагнозом. Сельский стиль в архитектуре построек Вилла-Сен-Жан (красные крыши цвета герани, ржавчина от гвоздей на деревянных наличниках и балконах) – дань публичным школам, таким, как Регби Мэтью Арнольда. Такие же спальни первого этажа с фарфоровыми кувшинами и ваннами в отдельных, отгороженных деревянной сосновой перегородкой клетушках (сорок клетушек на сорок постояльцев, каждая с кроватью, крепящейся к стене, и прикроватным столиком с ночным горшком в нижнем ящике). Но в остальном школа больше отражала приветливую индивидуальность своего основателя. Он был аккуратным, невысоким человеком с короткой стрижкой и, несмотря на возраст, чисто выбритым подбородком. Очки в металлической оправе, с которыми он никогда не расставался, не могли скрыть добрый свет его голубых пытливых глаз, и даже если отец Киеффер становился жестким в обращении, он оставался все таким же дружелюбно настроенным педагогом. Он верил в необходимость максимального контакта между преподавателем и учениками, независимо от того, сидел ли он за «немецкими» или «английскими» столами в столовой (по-французски, как предполагалось, говорили лишь

за десертом или на игровой площадке). И сам он не стеснялся взять в руки ракетку по воскресеньям, проворно прыгая по корту в своей сутане. Его кабинет был всегда открыт для любого из учеников, если у того появились проблемы или обиды, которыми надо бы поделиться. Также не существовало высоких оград или заборов, отделявших школу и парк от окружающего мира, и любой прогульщик мог скрыться там, если бы захотел. Идея, как бы парадоксально она ни звучала, состояла не в требовании беспрекословной дисциплины, а в том, чтобы заставить полюбить школу и безболезненно ее принять. Идея нашла отражение и в школьном девизе, который Киеффер много лет назад вычитал у шевалье Байарда: «Со всей душой». Девиз позже вызывал ироническое восхищение Сент-Экзюпери в противопоставлении с «Быть Человеком» – патетическим стоическим принципом, свойственным всем школам иезуитов, где ему довелось учиться.

Расположенные на залитых солнцем высотах Пероля, школьные строения вытянулись напротив старинного города Фрибур, с его старинными бюргерскими домами, приземистой соборной башней и фортами Вильгельма Теля, стоявшими на страже мостов по другую сторону речного водопада. На севере и востоке, когда небо было ясным, виднелись заснеженные пики Бернского Оберланда, мечтательно гревшиеся под ясным голубым небом. Лес был полон аромата сосен и вязов и чередовался с футбольными полями и площадками для игры в теннис. Любой желающий мог исследовать запутанные тропинки или крутые склоны, покрытые лесом, спускающиеся к ленивым зеленым водам Сарина, напоминавшим зимой замороженный пирог, покрытый достаточно толстым льдом, по которому можно было кататься на коньках.

Но все же Сент-Экзюпери так просто не сдавался. Переполненный болезненными воспоминаниями о Ле-Мансе и Монгре, он прибыл в Вилла-Сен-Жан в непокорном состоянии духа.

На старости лет Поль Мишод, учившийся с ним в одном классе, оставил для нас яркое описание своей первой встречи с Сент-Экзюпери, которое хотя, конечно, и содержит неточности, но заслуживает того, чтобы его процитировать.

«Это случилось между 9 и 10 часами вечера в начале января 1915 года, когда я оказался на платформе станции Фрибур. Я съел несколько бутербродов в поезде и чувствовал, как кусок застрял в горле, когда я присоединился к другим школьникам, собравшимся там до меня. Воспитатель повел нас пешком до школы.

Меня сразу же повели в большой спальный корпус, освещенный тусклым светом ночника, и показали клетушку из смоляных сосновых досок, которую я должен был занять. Это была моя первая ночь как пансионера, и я немного расстраивался. Я сразу же залез в кровать и уже задремал, когда я увидел темную фигуру у кабины по соседству.

– Ты новенький?

– Да.

– Откуда приехал?

– Из Шамбери.

– А раньше жил в пансионе?

– Нет, никогда.

– Нет ничего хуже! Это помойка. Здесь два ужастика – Череп и Омар. Они воспитатели.

Ты увидишь, действительно мрачные и...

Прежде чем он закончил фразу, белый занавес в одном углу спальни отдернулся, и я услышал голос воспитателя:

– Сент-Экзюпери, вы будете завтра наказаны. Оставьте вашего соседа в покое.

Темная фигура исчезла в своей кабине, но минуту-другую спустя показалась снова.

– Ты видел? – прошептал мальчик, свешиваясь вниз. – Это был Череп – настоящая мертвая голова...»

Память устраивает странные шутки, и, когда доктор Поль Мишод описывал этот случай в апреле 1966 года, Сент-Экзюпери не было в живых уже более двадцати лет, а с того времени,

как они некогда вместе учились в школе, прошло полвека. На самом деле Сент-Экзюпери не мог появиться на Вилла-Сен-Жан раньше ноября 1915 года, к тому времени Мишод пробыл там почти год. Таким образом, весьма вероятно, скорее это Мишод начал вводить в курс дела вновь прибывшего относительно Черепа и Омара, нежели наоборот. Правда это или нет, но Сент-Экзюпери частенько попадало, и он получал выговора за то, что нарушал ночной покой своих соседей или их якобы покой.

Настоящее имя Черепа, этого не склонного к юмору преподавателя математики, на голове которого едва ли оставались хотя бы одиноко торчащие волосинки, было Гийо. Одного ученика отчислили за высказывание, что у учителя череп иезуита, но прозвище закрепилось. Что касается Омара, то он отзывался на восхитительное имя Клод. Он преподавал английский язык, и его фанатичная англоманья проявлялась даже в том, как он с английским акцентом говорил по-французски, предпочитал держаться строго и, как он считал, имел очень британские манеры: носил рыжую бороду и замечательные бакенбарды, торчащие строго горизонтально из-за его щек, подобно антеннам ракообразного.

Эти два блюстителя дисциплины, как оказалось, не были столь грозными, хотя, возможно, сначала Сент-Экзюпери и боялся их. По крайней мере, они оказались не опаснее, чем остальные преподаватели, начиная с аббата Гиллу, преподававшего философию в старших классах. Известный больше как Зизи из-за своей манеры произносить сочетание звуков «s's» как «z's», он пунцово краснел всякий раз, когда кто-либо из мальчиков задавал ему смущавший его вопрос. Или Папаша Симон – преподаватель рисования, который вполне удовлетворялся поверхностным взглядом на творения своих питомцев и носил прическу из всклокоченных волос на манер Джорджа Бернарда Шоу. Или Фриц, приветливый малый с копной густых волос и таких же густых усищ, подстриженных как у охотников, преподававший физику и химию и помогавший мальчикам собирать радиоприемники из наборов деталей. Был еще Валь, преподаватель немецкого и естествознания, широкоплечий австриец с козлиной бородкой в стиле Генриха IV. По слухам, он вступил в орден марианистов и помог отцу Киефферу в создании школы в 1903 году после несчастной любовной истории в Вене. Его прозвали Папа. Он очень нравился ученикам, которых он выводил на длинные прогулки и развлекал там многообразными познавательными рассказами о флоре и фауне, иногда продолжавшимися и за столом в местной таверне. Был среди преподавателей и не знавший усталости Франсуа-Ксавье Фридблатт, выходец из Эльзаса, на все руки мастер. Он успевал преподавать физику, неорганическую и органическую химию, а также астрономию, организовал и проводил занятия хора в часовне, самостоятельно тренировал более спортивных ребят в плавании, катании на коньках и санках, научил их играть в футбол, баскетбол, хоккей, теннис.

Сент-Экзюпери, больше любивший прогулки по лесу, оказался безразличен к большинству этих спортивных состязаний, да и к занятиям он относился без особого энтузиазма.

Он вырос необычно высоким и широкоплечим мальчиком, но этот неожиданный рывок в росте и физическом развитии только усугублял ощущение неуклюжести, от которого он страдал еще в Ле-Мансе. Те, кто учился с ним в школе, часто пользовались случаем, чтобы посмеяться над его неспособностью заменить соскочившую цепь велосипеда или отремонтировать проколотую шину. А однажды он потерял равновесие так неловко, что при падении ручка тормоза проделала глубокий порез на его правой щеке, оставив крошечный шрам, который не рассосался до конца жизни.

Среди тех, с кем молодой Антуан быстро подружился на Вилла-Сен-Жан, был мальчик по имени Шарль Салль, приехавший тоже из Лиона. Бабушка и дедушка Салля, по любопытному совпадению, имели дом в Шатильон-ла-Палю, расположенном на той горной гряде, пересекающей долину, которой графиня де Трико могла восхищаться, сидя на веранде и распивая чай в Сен-Морисе.

Салля даже когда-то отправляли, подобно Антуану, изучать в частном порядке латынь к тому же самому викарию в Бублоне (по соседству с Шатильоном), имевшему обыкновение баловать своих летних учеников грушами в своем саду. И все же эти двое впервые встретились, лишь когда Сент-Экзюпери пришел в столовую в Вилла-Сен-Жан и сел рядом Шарлем.

В отличие от своего нового приятеля, Салль был хорошим учеником, он упорно занимался, и его успехи регулярно отмечались в «Золотой книге», куда записывали имена лучших учеников Сен-Жан. Он не смог припомнить, чтобы хоть раз его поразили академические достижения Антуана, хотя бы во французском языке, в котором он позже так преуспел. Школьные архивы свидетельствуют о том же, по крайней мере отчасти. Ибо в первый год обучения в Вилла-Сен-Жан Антуану все же удалось стать вторым (из 25 учеников) по сочинению на французском языке и пятым – по латыни, а в выпускном году он был вторым (из 10 учеников) по физике и химии и третьим по философии. Но эти благостные успехи, единственные, на которые он оказался способен, фактически сводились к нулю его посредственными результатами по другим предметам.

В Вилла-Сен-Жан учащимся, завершившим первый класс с хорошими результатами в учебе, предоставляли желанную привилегию переезда из спальни в «La Sapinière» (буквально «сосновник» по названию материала, из которого был построен дом для двух последних классов) на второй этаж, где они могли наслаждаться индивидуальными комнатами по соседству с некоторыми преподавателями. Если результаты в учебе или поведение после переезда ухудшались, ученикам приходилось возвращаться в общую спальню. Процесс насильственного лишения привилегий был известен среди мальчиков как «выпадение из салона». Поскольку Сент-Экзюпери, как нам кажется, не совершал большого количества подобных спусков, то лишь по той простой причине, что он редко попадал в «салон». Чаще всего он находился ближе к самому концу списка своих одноклассников по успеваемости (два последних класса) по результатам классных работ: 38-й из 39 в ноябре 1915 года, 40-й из 40 в марте 1916-го, 38-й из 38 в июне того же года. Эти далекие от блеска результаты очевидны и на втором году его обучения, поскольку школьные книги упоминают его в общем списке, как 48-го из 48 в ноябре 1916 года и 37-го из 40 в мае 1917-го. Но именно в тот год – известный как год философии – он поселился наконец в отдельной комнате – такая привилегия автоматически предоставлялась ученикам последнего года обучения.

Поведение в учебных классах сильно влияло на результаты ежемесячных аттестаций. Школьные записи свидетельствуют, что Антуан отличался недостатком внимания, определявшим предельно низкую оценку 50 (поскольку отметка 70 или 75 давалась за образцовое усердие). Его упрямое нежелание говорить по-немецки за столом регулярно оценивалось как «неудовлетворительно». Его неоднократно призывали к порядку: Антуан разбрасывал хлебные крошки и дерзил по-французски. Даже 9-е место (из 20), которое он занимал в течение 1915 – 1916 годов по сочинению на французском языке, он поделил с шестью другими учениками. Да и в любом случае это не было особо выдающимся результатом.

Удивительным на фоне его дальнейшей судьбы, когда ему приходилось ориентироваться и лететь над огромными территориями земного шара, кажутся его 4 балла по географии – самая низкая отметка среди всех изучавших этот предмет.

В 1916 – 1917 годах его успеваемость определялась 11-м местом (из 20) и была средней по классу по физике и химии, средней по философии и ниже средней по религиозным наукам. Но его 7-е место по естествознанию и истории и его 6-е место по географии снова оказались самыми низкими результатами в классе.

Очевидно, что большую часть времени во Фрибуре его мысли блуждали где-то вдали. В частности, мы можем судить об этом по тексту захватывающего душу письма, отправленного им Анне-Мари Понсе во втором семестре. С ним он прислал первые строфы либретто для оперетты под названием «Зонтик», на которые, как он нежно надеялся, его старая учитель-

ница музыки сочинит мелодию. Сюжет был по-детски прост: герой, молодой человек, входит в кафе и видит изящный зонтик в гардеробе. Он предполагает, что зонтик принадлежит молодой девушке, которую представляет себе не только красивой, но и тоненькой, как тростинка, робкой, ласковой и нежной. Он садится за столик около гардероба, чтобы не пропустить ее лучистое появление, и половина Парижа, начиная с удалого полковника и кончая стайкой молодых парижских швей, проходят мимо него... Но, наконец, о, ужас ужасов! Появляется бабища с волосатой губой и в тошнотворной зеленой шляпе, хватая зонтик и выходит с ним на залитую дождем улицу.

Сюжет, должно быть, показался автору несколько легкомысленным и слабым, поэтому, когда поднимается занавес, то не мечтательный молодой человек, а хор «августейших» пьяниц заполняет плетеные стулья бульварного кафе.

А мы все жрем этот мир —
Серьезно, важно жуем.
Глаза наши цвета дыр.
Мы солнце, как пойло, пьем.
Прикинемся-ка давай
Героями: пусть нам несут
Бутылку, стакан, каравай —
Не завтра наш Страшный суд!

Возможно, что от его работы души веет некоторым атавизмом. Веселая ассоциация солнца, выходящего из подвала, возвращает нас к винным бочкам «Малескот Сент-Экзюпери» в подвалах его дедушки Сент-Экзюпери и страховой деятельности его дедушки в «Компани дю Солей». Но очевидно, Антуан читал слишком много Ростана, и эта первая неистовая строфа была все еще длинным щелчком кнута Сирано под хвостами мужей-рогоносцев.

Это младшие братья Гаскони —
Карбона, Кастель-Жалу —
Бесстыдники и драчуны,
Забияки, каких поискать...
Но возвратимся к «Зонтику»...

Официант, вызванный принять заказы от пьяниц, немного испуган, когда они все заговорили одновременно. Между тем слышится их речитатив:

Мы курим блаженно,
Созерцая прелестных дам мимохожих,
Мы жуем нашу мирную пищу,
Радость мирскую ценя,
Мы ждем без досады —
Законопослушные граждане —
Официантов, что должны обслужить нас,
Соблаговолив...

Остальное неразборчиво. «Эти страницы завершают первую часть, – информирует либреттист будущего композитора. – Мы достигли места, где как раз предполагается появление Аглаи и полковника. Напишите мне, если необходимо, чтобы я размножил текст без изменений, или я сделаю это в начале каникул. Я приеду в Вербное воскресенье». Антуан продолжает

и спрашивает, понравилось ли ей вступление, сочинила ли музыку, смогла ли разобрать его почерк и «где, когда и как это будет поставлено?». Композитор, увы, не написала и такта. Но шальные эти вирши позабавили ее так сильно, что она хранила это неудавшееся либретто даже после смерти их автора.

Полдюжины поэм Сент-Экзюпери, оставшиеся нам с той поры – в значительной степени благодаря доктору Полю Мишоду, – свидетельствуют об огромном воздействии на юное воображение трагедии войны 1914 – 1918 годов. Благоприятное преимущество по сравнению со строжайшими правилами в колледже Сен-Круа в Ле-Мансе, запрещавшими чтение газет, – разрешение учащимся в Сен-Жан читать газеты. Ежедневные коммюнике с фронта даже наклеивались на доску объявлений в комнате для игр «сосновника». На вести с фронта реагировали страстно и тревожно, и едва ли хоть один месяц не приносил горестную новость о гибели в бою очередного выпускника. Настроения в школе царили решительно профранцузские. Всякий раз, когда состав интернированных проходил через Фрибур, мальчишки, сгрудившись, приветствовали солдат-фронтовиков и офицеров, которые пересекли швейцарскую границу, или бежавших из какого-нибудь немецкого лагеря для военнопленных. Генералу По, когда он проезжал через город, оказали просто безумный прием. Военный героизм был темой дня, и в одной из поэм Антуана под названием «Горечь» нашло отражение чувство юношеского разочарования от необходимости пересидеть на тихой школьной скамье эпоху борьбы, а не находиться в гуще битвы.

Он суров, хоть молод еще —
О, какие его года!
Он шепнул ей: «Люблю горячо!» —
Так, как шепчут все и всегда...

Рабской жизни крикну я: «Нет!»
Против пошлости я восстаю!
Грому пушек я дал обет —
Я романсы мещан не пою!

Эти стихи, написанные еще до его шестнадцатилетия, – первое, еще не очень твердое утверждение идеала спартанца, декларации сущности человеческого бытия, в противовес Сирано, которое позже он подробно развил в своих книгах. Но этот мальчик, рожденный поэтом до мозга костей, был в то же самое время слишком чувствителен к красоте и к тем сокровищам красоты, которые спасают цивилизацию от ужасов и потрясения отвратительной резни. В поэме под названием «Разочарование» двадцатилетний французский часовой, пристально вглядываясь в ночь, стоит, подсвеченный вспышками пулемета, сменяющимися темнотой. Так и с мечтами человека:

И слушает солдат смятенный сердца стук:
Летят мечты, как птицы, – завтра канут в бездну,
Погрузятся во мрак, пустой и бесполезный...

Другая поэма, «Военная весна», где описывается битва на реке Изер, заканчивается следующими словами: «О, почему мы должны погибать в цветах?», эхом глубоких переживаний Рупера Брука: «...На полях Фландрии, где растут маки». И в еще одной поэме с названием «Золотое солнце» красный цвет кровавого заката связан с идеей о мире, который гибнет:

Ты каждый день распахиваешь времени врата,

Светило золотое! Чья рука швыряет
Тебя в зенит, слепящий диск, Акрополь озаряя,
Чтоб ощутили люди: се есть красота...
.....
О, как мир близок, бедный, к гибели своей.

Интонация этих строк отражает влияние Бодлера. «Дамский поэт» (как он сам себя называл при жизни), естественно, не фигурировал в учебных планах по литературе Вилла-Сен-Жан. Но тайные списки его поэтических произведений передавались из рук в руки, и его стихи даже открыто обсуждались на внеклассных занятиях с отцом Гоерунгом, либерально настроенным молодым священником, преподававшим французскую литературу в старших классах.

Первой книгой, действительно увлекшей молодого Антуана, стали сказки Ганса Христиана Андерсена. Позже он открыл для себя Жюль Верна. И спустя годы он признался в интервью «Харпер Базар»: «Я никогда не испытывал тяготения к чистой беллетристике и читал сравнительно немного таких произведений. Первые романы, которые привлекли меня, вышли из-под пера Бальзака, особенно понравился «Отец Горио». В пятнадцать я познакомился с творчеством Достоевского, это стало огромным открытием для меня. Я сразу почувствовал, что столкнулся с кое-чем громадным, и продолжал читать все, что он написал, одну книгу за другой, как я поступил и с Бальзаком. Мне было шестнадцать, когда я впервые открыл для себя ряд поэтов. Конечно, я был убежден, что и сам был поэтом, и в течение двух лет писал стихи, как безумный, подобно остальным юнцам. Я поклонялся Бодлеру и должен стыдливо сознаться, что я знал наизусть всю «Графиню де Лисль» и «Эредии», а также Малларме. Но даже теперь я не отказался бы от прошлого».

Спустя годы после того, как он покинул Сен-Жан, он мог все еще заставить застолье или салон хохотать до упаду, пересказывая Виктора Гюго или Малларме на скрежещущем металлом акценте фрибуржцев. Но постепенно его собственная поэтическая страсть иссякла. Однажды вечером в Сен-Морисе после того, как он прочитал несколько своих поэм подруге матери, она спокойно заметила: «Вы их хорошо декламируете. Но мне следует их прочитать самой». Антуан был повержен. Позже, когда другой друг семьи, доктор Гение, отругал его за жертвование точным значением слов в угоду рифме, он понял, что они правы, и распрощался с поэзией. Хотя природный дар оказался слишком сильным, чтобы так просто отступить. В итоге его проза, когда наконец она вырвалась наружу, пылала поэтическим свечением.

* * *

Последние месяцы пребывания Сент-Экзюпери во Фрибуре омрачены усиливавшейся болезнью брата Франсуа, страдающего ревмокардитом. Его отвезли на родину в Сен-Морис-де-Реманс, где в июле 1917 года он скончался. Чувствуя приближение конца, он позвал Антуана к своей кровати и, зардевшись юным румянцем, пояснил:

– Я бы... хотел составить завещание.

Завещание? Мальчик, которому едва исполнилось четырнадцать лет? Но он вложил столько серьезности и такой мужской гордости в свою последнюю волю, что годы спустя его старший брат не мог вспоминать об этом без слез. «Если бы он был отцом семейства, он передал бы мне на выучку своих сыновей. Если бы он стал военным летчиком, он бы оставил все книги по пилотированию мне для сохранности. Но он был ребенком. Все, чем он мог распорядиться, – пароход, велосипед и пневматическое ружье».

Франсуа был похоронен на небольшом кладбище Сен-Морис-де-Реманс, в усыпальнице, выстроенной над могилой графа Леопольда де Трико, и где всего три года спустя предстояло найти вечный покой Габриэлле де Трико.

Для смены обстановки Антуана и его сестер отослали тем августом в Карнак, на южное побережье Бретани, где сестра их отца Амиси имела виллу. Ее муж, майор Сидней Черчилль, несмотря на свою английскую фамилию и воинское звание, был по духу больше французом, чем британцем. Живое воплощение дружественного союза между государствами (которое он так приветствовал), он происходил от английского дедушки, захваченного в плен во время наполеоновских войн и закончившего войну женитьбой на французенке. Рожденный во Франции и воспитанный иезуитами в Париже, Сидней Черчилль был на три четверти французом и, несомненно, предпочел бы сделать карьеру на своей родине по материнской линии, не откажи ему военная академия Сен-Сир в приеме по причине слабого зрения. Британцы, не столь щепетильные в этом вопросе, приняли его в Сандхерст, после окончания которого он принимал участие в боевых действиях в Бирме, Южной Африке (войне с бурами) и, наконец, на Западном фронте. Его жизнь – пример активной жизни, полной приключений, о которой всегда мечтал молодой Антуан. Правда, в глубине души его собственные помыслы тянули его к морю больше, чем на сушу. Его героем в то время был капитан Немо, и, подобно создателю этого образа, Жюлю Верну, он превыше всего страстно желал путешествовать и посмотреть мир. Август выдался солнечным, и Антуан, редко занимавшийся спортом, полюбил плавать в Атлантике. Но к его крайнему неудовольствию, тетя, страшась еще одной трагедии в семье (после смерти Франсуа), не позволяла ему выходить с рыбаками на лодках под парусом.

Морская соль еще не сошла с его губ, когда он отправился в Париж осенью того же года для возобновления занятий. Грязь и вонь траншей отбила охоту к соблазнам военной профессии, и ему хотелось стать моряком. Во Фрибуре он изучал классические науки: греческий язык, латынь и философию – и достаточно преуспел в этих предметах, чтобы сдать бакалаврские экзамены. Действительно, когда Поль Крессель, приехав домой в отпуск, предоставленный ему на фронте, познакомился с Антуаном в Лионе, то был поражен молодым человеком, с одинаковой заинтересованностью обсуждавшим Канта, Бергсона и Фому Аквинского и расспрашивающим бывшего драгуна о новом военно-воздушном роде войск, куда тот только что перевелся. Эти два года в Вилла-Сен-Жан, возможно, не сделали из него ученого, но они, по крайней мере, пробудили в нем интерес к философии, с годами усиливающийся. Но сиюминутные желания Антуана оказывали на него сильное воздействие, и ни схоластика великих доминиканцев, ни глубокие думы мудрецов из Кенигсберга не могли помочь в его новом выборе, который он для себя сделал. Чтобы поступить в военно-морской колледж в Бресте, ему было необходимо изучить высшую математику – гипофлотскую (элементарный курс) и флотскую (продвинутый курс), как этот двухлетний курс именовался на школьном жаргоне. Он соответственно регистрируется как вольнослушатель лица Сен-Луи, расположенного на бульваре Сен-Мишель, через дорогу от Сорбонны. И скоро его преподавателем в счислениях и логарифмах становится великолепный знаток своего дела по фамилии Паже, более известный своим ученикам как Кью-кью Прим.

Если судить по письмам, которые он писал матери в Амберье и своему другу Шарлю Саллю, к тому времени призванному во французскую армию, занятия строились интенсивно, приблизительно по десять часов математики в день. Новая среда обитания Антуана была далека от насыщенных воздухом просторов Вилла-Сен-Жан, и он с трудом привыкал к тесному четырехугольнику, куда их выпускали на переменах. Со свойственным ему преувеличением он описывал их Саллю, размером «десять на десять метров». В действительности на территории колледжа росло восемь платанов, хотя участок не мог превышать пятидесяти ярдов в ширину и в длину. Даже если допустить, что не все 1800 учащихся заполняли этот пятачок (другое преувеличение Сент-Экзюпери), то он все-таки не то место, где легко наслаждаться такой роскошью, как футбол или теннис. «Но, – утешал он себя, – мы можем оттачивать свое остроумие друг на друге, повторяя каждые десять секунд: «Эй, ты, болван, разве не видишь, что это мои ноги?» Мы можем также швырять водяные бомбы из окон или совершать набег

на классные комнаты кандидатов в политехническую школу (политехов) или минеров (основной контингент) и приводить в полный беспорядок все их вещи в тайной надежде обнаружить по возвращении, что они сделали то же самое с нашими вещами. На войне, в конце концов, как на войне».

В лицее Сен-Луи слушателей делили на несколько групп, исходя из предполагаемых высших учебных заведений, куда их готовили. Группа Сент-Экзюпери состояла приблизительно из сорока кандидатов, подобно ему, готовившихся к поступлению в военно-морскую академию и, таким образом, носивших прозвище «водоплавающие» (хотя термин был игрой слов: от слова *poile*, означавшего «флот», а на жаргоне – «вода»).

Собиравшихся поступать в военную академию Сен-Сир прозвали киркадетами, в дополнение к ним были и трудолюбивые мулкадеты, готовившиеся к поступлению в политехническую школу, и минеркадеты, упорно стремившиеся в Центральную инженерную школу. Каждая группа отличалась своим корпоративным духом, но поскольку всех объединял один и тот же «тягач», борьба за верховенство приобретала форму сражения служб, поделившая сторонников по фактической принадлежности к будущим родам и видам войск. Так, многие из мулкадетов призывались в дальнейшем в артиллерию, а многие из минеркадетов – в инженерно-саперные войска.

Однажды, прогуливаясь по четырехугольнику двора, каланча киркадет начал задирать «водоплавающего» по имени Анри де Сегонь, который хоть и был более шести футов ростом, выглядел меньше гиганта. Перспективы для Сегоня казались мрачными, и все шло к просьбе о помощи, когда длинная рука и большое туловище возникли между драчунами. Это был Антуан де Сент-Экзюпери, чьи шесть футов три дюйма роста казались угрозой для хулигана. Укрощенный внезапным удвоением сил противника, киркадет, надувшись, отступил, оставив поле боя за двумя «водоплавающими». Инцидент был тривиален, но он положил начало дружбе, ставшей одной из самых крепких и теплых за всю жизнь Антуана.

Он, как обычно, проявлял свой непослушный характер и свою невосприимчивость, что обеспечивало его множеством наказаний. («Вы будете переписывать фразу... двести раз» и т. д.) Он жаловался на одного из преподавателей в письме к своему другу Саллю, описывая «надсмотрщика над рабами» как «методичного тирана». Чтобы спасти друга от шести часов принудительного переписывания, я послал ему на днях телеграмму, срочно вызвав его по фальшивому адресу на другой конец Парижа в учебное время. Хитрость, кажется, сработала, и ликующий сачок развил этот первый успех с фальшивыми официальными письмами, отправленными друзьями из Лиона, Ле-Манса, отовсюду. Зато наказания удвоились и утроились. Он попросил Салля направить поддельный вызов через почтовый ящик в Гренобле, но если бы это и привело к какому-нибудь результату, то, вероятно, к учетверению наказания.

Потребность в подобных безумствах в лицее Сен-Луи объяснима, и не только по причине педагогической тирании и отсутствия отдыха. Обычно кипучий Латинский квартал был в то время погружен во тьму. Парижу пришлось познакомиться с полным мраком Второй мировой войны, но везде были защитные фиолетовые лампы. «Вечера теперь тоскливы, – писал Антуан своей матери, – весь Париж погряз во тьме. Трамваи светят фиолетовыми лампами, лампы коридоров в лицее Сен-Луи фиолетовые, все весьма жутко... Если взглянуть на Париж из окна высокого дома, он напоминает большую склянку чернил, не увидишь ни проблеска света, ни языков огня из-за всеобщей светомаскировки, это удивительно. А если и есть ярко освещенные окна, они задернуты тяжелыми занавесками».

Сколь мрачной ни была бы война, Париж все же сохранил многое из прежнего блеска и самого своего духа. Шумные заседания в сенате и палате представителей (ставшие основой возвращения Клемансо к власти) пародировались слушателями Сен-Луи, которые спровоцировали свой «министерский кризис». В новом «кабинете» – в значительной степени благодаря влиянию своего друга Анри де Сегоня – Антуан был назначен Р.Д.М. (префектом надувающих

губы). Главные усилия этого нового «правительства», похоже, направлялись на стимуляцию деятельности С.Д.О. – руководителя оркестра (вице-начальника по делам «галдения»), который, надо признать, применительно к занятиям в классе отвечал за неистовый гвалт.

И при этом Париж не стал менее опасным для целомудрия молодых юношей, хотя и превратился в город без света. Мрак, в который погружалась столица с наступлением ночи, усиливал и без того чрезмерно хищное обаяние женщин, чей поношенный облик мог бы быть подвергнут серьезной проверке при дневном свете, а отток мужчин на фронт привел к тому, что молодые щеголи превратились в высоко ценимый товар. Профессионалкам составляли конкуренцию дилетантки, готовые внести частицу своего патриотизма. Соблазнительницы частенько оказывались слишком очаровательны, чтобы быть отвергнутыми, и, судя по одному из писем, несколько однокашников Антуана уступили искушению. Добропорядочная мадам Иордан, которую Мари попросила присматривать за подвергавшемся угрозе моральным состоянием ее сына, усердствовала в распространении морализирующих буклетов. Их Сент-Экзюпери, послушный долгу, передавал своим школьным товарищам, перечитывавшим брошюры под взрывы хохота, сопровождавшимся неподдельным ступором. Они могли себе это позволить, поскольку Венера позаботилась о проблеме собственными силами, медленно распространяя отраву, носившую ее сладострастное имя. «Я пришел к выводу: Париж – менее гибельный город, чем многие провинциальные свалки, – в конце концов написал домой Антуан. – Мои товарищи, которые действительно бурно проводили время по своим родным городкам, здесь в некотором смысле остепенелись из-за опасения повредить здоровье чувственными играми».

Весной 1918 года большинство старшекурсников были выселены из тесного помещения на бульваре Сен-Мишель и размещены в покрытом зеленью университетском городке лицея Лаканаль, в южном пригороде Ско. «Большая Берта» обстреливала площади, и всегда существовала опасность, что один из ее массивных снарядов может попасть прямо в лицей Сен-Луи и уничтожить несколько сотен «водоплавающих» или киркадетов одним ударом. Требовалось также положить конец прискорбной привычке лицеистов взбираться на крышу, чтобы понаблюдать ночной фейерверк. Ско на поверку оказался лишь чуть менее уязвим, чем Латинский квартал, поскольку случайные снаряды залетали и сюда. «Это равноценно нахождению в середине среднестатистического урагана или шторма в открытом море, – написал матери Антуан, которая, должно быть, сильно разволновалась, прочитав дальше: – Это замечательно. Только не следует выходить за порог, потому что шрапнель накрывает площадь целиком, да и одной картечины достаточно, чтобы сровнять человека с землей. Мы нашли несколько штук в парке».

Обстановка того времени не особенно способствовала сосредоточенному изучению наук, и у восемнадцатилетнего Антуана в Париже, кажется, не особенно развился вкус к учению по сравнению с Ле-Мансом или Фрибуром. Его плодотворное воображение продолжает создавать новые формы школьного терроризма – подобно взрывам зажигательных бомб в комнате для занятий. «В течение тех военных лет, – вспоминал Анри де Сегонь, – наши лицеи и колледжи столкнулись с проявлениями недисциплинированности отдельных слушателей. Ободренные примером своих преподавателей, погибавших за родину на фронте один за другим, почувствовавшие отсутствие жесткого контроля со стороны родителей, занятых куда более тяжкими печальями и неприятностями, вдохновляемые подвигами наших братьев и желанием показать, что мы тоже на что-то способны, мы вкладывали всю силу героического настроения в изобретение и осуществление наших беспутных проделок. Я сомневаюсь, что в профессорской памяти есть с чем сравнить настрой в классах 1918 года». Гигантский всплеск эмоций упал на день, когда пришло сообщение о перемирии 11 ноября 1918 года. Согласно воспоминаниям Сегоня, он и Сент-Экс (как его звали одноклассники) неистово бушевали в тот день.

Признаки мира, кажется, сделали немного, чтобы охладить вкус к бурным проявлениям радости. Было установлено, что подвалы под Бастилией на бульваре Сен-Мишель имеют выход в большой туннель для сточных вод, где содержатели игорных домов потворствуют удовлетво-

рению в подземелье страсти к игре в бридж. Выход был через люк на рю Куйа, на противоположной стороне бульвара. Стало правилом проводить там время, избегая классовых занятий. Миновав туннель, Сент-Эксу оставалось только вскарабкаться по металлическим ступеням и с чьей-то помощью извне открыть тяжелую крышку люка, после чего он оказывался на свободе и мог наслаждаться часом или двумя манкирования занятий. Однажды, когда они уже поднимались по лестнице и открывали тяжелую металлическую крышку, Сегонь, стоявший выше на ступеньках, понял, что их раскрыли. Один из их преподавателей подошел со стороны улицы со своей дочерью и наблюдал за стараниями учеников с нескрываемым любопытством. Отпустив крышку, Сегонь бросился вдоль улицы, в то время как Антуан, желая узнать, что же произошло, высунул голову сквозь наполовину открытый люк. К счастью, вечерело, и у преподавателя не оказалось достаточно времени, чтобы опознать странное видение, провалившееся назад, подобно чертику из табакерки. Позже, во время переключки, Сент-Экс уже находился на своем обычном месте в классной комнате, причем его брови были сурово сведены от невероятной сосредоточенности на изучаемом материале.

В январе 1919 года Антуана перевели из лицея Сен-Луи в школу Боссюэ, расположенную с другой стороны Люксембургского сада. Его мать, возможно, решила, что ему необходима более строгая дисциплина и что отцы из ордена иезуитов, управлявшие Боссюэ, больше подходят для этой цели, нежели светские преподаватели лицея Сен-Луи. Поскольку в Боссюэ не давали определенных знаний, Антуан продолжал посещать занятия в Сен-Луи, но в Боссюэ он ел, спал и отсиживал долгие самостоятельные занятия (первое из которых начиналось рано, в 7 утра). Сегонь вспоминает своего друга «немного диким, полным капризности, недовольного жизнью, угрюмого и погруженного во внутренний мир размышлений. Он не легко заводил друзей, и это причиняло ему боль, поскольку он любил быть любимым».

В большом зале для самоподготовки в Боссюэ Анри и Сент-Эксу позволили иметь индивидуальные столы. Следует учитывать, что большинству других слушателей дозволялось пользоваться лишь общими скамьями за длинными столами для домашней работы. Вероятно, этот фаворитизм объяснялся целью ослабить тлетворное влияние этих двух картежников, но, скорее всего, так поступили из-за их возраста: Сегоню и Сент-Экзюпери предстояло провести в неволе три года, углубленно изучая математику. Недисциплинированный Антуан превратил свой стол в образец беспорядка. Ленивое ковыряние в бумагах, безуспешные попытки привести в порядок необычайную массу печатного материала, запиханного в ящик стола, переполнили чашу терпения аббата Женевуа, который после неоднократных замечаний приказал Сент-Эксу занять место за общим столом. Следующий час или два были посвящены внеучебному стихосложению, поскольку, когда аббат возвратился после занятий, он нашел всю доску испи-санной парой любопытных стансов. «Одиссея цилиндра» теперь превратилась в «Оду маленькому столу».

Я в самом дальнем углу
Пыльного класса стоял.
Учитель – руки в мелу —
Урок свой нудно вещал.
Я будто негр почернел,
Состарясь от тяжких трудов:
Кто только за мной не сидел —
За столом добрых ста годов!

Но день настал. И я был
Вознагражден судьбой.
Хозяин новый любил

Меня: то гости гурьбой,
То настезь – в сад – окно,
То ворох стихов, бумага...
Недолго лилось вино:
Враг похитил меня впотьмах.

Далее шло еще несколько строф, но сущность их состояла в просьбе: «Принц (кличка, данная аббату его учениками), верни назад мой маленький столик».

Святой отец проявил достаточно черствости и велел другому школьнику стереть бессмертные каракули с доски. Он вполне мог и обидеться, приняв на свой счет упоминание о «враге», прервавшем «тяжкие труды», свидетелем которых как раз и был отдельный стол, а что касается артистического гения, создавшего беспорядок под крышкой парты... чем меньше слов, тем лучше. Но он оказался достоин того царственного титула, которым его наделили, великодушно позволив печальному Антуану восстановиться в правах на свою неприбранную «ящерицу».

Но за отсутствие прилежания наступает расплата, и в конечном счете обоим друзьям пришлось заплатить за недостаточное рвение к учебным дисциплинам. Сегонь, за свои грехи предварительно сосланный в провинциальную школу в Бретани, провалился на экзаменах в военно-морскую академию, так же, как и Сент-Экс. Едва были объявлены результаты, как паника охватила лицей Сен-Луи. «Пожар! Пожар!» – кричал кто-то, когда пожарники ворвались в дом. Они перевернули все вверх дном, но не смогли найти никаких следов возгорания. Это и понятно. Вызов по телефону – последняя школьная шалость Антуана, великий финал в длинной цепочке его пирровых побед в битве с администрацией.

Неудача была достаточно предсказуема, но много позже, когда его настигла популярность, тот же самый неугомонный проказник не смог воспротивиться искушению сыграть шутку и со своей собственной биографией. Он сумел сдать письменный экзамен, но потерпел неудачу на устных. Но дабы сохранить иллюзию, будто гении непогрешимы, – иначе они не гении! – рассказывал, что он провалил сочинение по французскому языку, сдав чистый лист бумаги в ответ на вопрос: «Опишите беды жителя Эльзаса, возвратившегося после войны в родную деревню». Вовсе не житель Эльзаса, Сент-Экс посчитал нечестным отвечать на подобный вопрос. И это звучало из уст человека, который так трогательно описал злоклучения цилиндра и тяжесть утраты стола!

Анри де Сегонь (а кому, как не ему, следовало знать правду) признает, что «Эльзасская история» – полная ерунда. Так же, как и другая восхитительная утка Сент-Экзюпери, которой он дал жизнь в одной из бесед с молодым журналистом. «Это правда, – поинтересовался журналист, – будто на экзаменах в военно-морскую академию вы получили единицу по французскому языку?» Едва ли могла существовать подобная отметка, поскольку 20 баллов были максимальной оценкой. Но мысль о единице так поразила Сент-Экзюпери, что он ответил: «Конечно!» И его байка стремительно разнеслась.

Все это, конечно, произошло позже – после того, как его признали мастером французской прозы. А во времена тех неудач ему было совсем не до шуток. Он посвятил три года тщетным усилиям стать моряком, а поскольку ему уже исполнилось двадцать, рассчитывать еще на одну попытку больше не мог по возрасту.

Вынужденный сделать крутой поворот, осенью 1920 года он записался слушателем по классу архитектуры в школе изобразительных искусств. Антуан провел там пять малозначимых месяцев, проживая в дешевом гостиничном номере на рю де Сен, недалеко от бульвара Сен-Жермен. По правде говоря, то время, когда он не сгибался над чертежной доской, он проводил у Жарре, в кафе на углу рю Бонапарт и набережной Малаке. Здесь почти каждый день он встречал Бернара Ламота и других учащих школы за ленчем, состоящим из бутерброда.

Хотя его мать посылала ему все, что только могла, она была далеко не богатая вдова. Поэтому его скудного содержания никогда не хватало больше чем на месяц, и бывали дни, когда, не имея средств оплатить ветчину, ему приходилось довольствоваться половиной багета, обильно намазанного горчицей. «Имейте кусок хлеба, чтобы было на что намазать горчицу», – стандартная шутка в школе изобразительных искусств.

К счастью, у него имелись родственники, такие, как троюродная сестра матери, графиня де Тревис (урожденная Ивонна де Лестранж), которые были счастливы предложить ему бесплатные обеды, хотя ему претило слишком злоупотреблять их гостеприимством. Бывали и случайные заработки, наполнявшие его карманы желанной мелочью. Со своим другом Сегонем он нанимался в массовки в опере Жана Ноге «Кво вадис?». Сегонь, изображавший красного гвардейца, с садистским удовольствием нападал на своего друга Антуана (исполнявшего роль христианина) с деревянным мечом. Но позже, когда Сегоня отсылали в отдаленный угол сцены, Антуан получал приятную возможность отомстить (исполняя роль черного гвардейца), разглагольшая по поверженному телу святого Бландина, зверски убитого мученика. Это была не гениальная опера, не лучше «Зонтика», который он намеревался написать с Анной-Мари Понсе. И театр невелик. Но подобно «Телефону», поставленному для матери и тети в Сен-Морисе, или роли Диафуаруса, которую Антуан исполнял во Фрибуре в «Мнимом больном» Мольера, это было забавно. Краткий отдых среди месяцев тяжелой бестолковой рутины.

Будущий писатель любил рисовать и имел дар художника, но не был действительно уверен, что хотел бы стать архитектором. Если его тянуло к морю, за этим стояла тяга к грандиозным приключениям. Если его очаровывали соборы, то из-за непостижимой таинственности, окружавшей все внутри них, и бескрайним небесам, куда уносились их шпили. Остальное несло печать рутины, а он ненавидел обыденность.

Занятия прервались весной 1921 года по вполне прозаичной причине: Антуана вызвали для прохождения воинской службы. Для того, кто не имел ни склонности, ни способностей к военной службе, это могло означать два года неволи. Но для него наступило освобождение.

Глава 3

Крещение небом

Однажды в Сен-Морис-де-Реманс охваченный паникой Антуан ворвался в комнату, где сидели сестры и мать, с криком: «Он умер! Умер!» Все бросились во двор: гувернантка из последних сил удерживала Франсуа, лицо которого было залито кровью. Братья экспериментировали с паровым двигателем. Двигатель взорвался, ранив Франсуа в лоб; из маленькой, но глубокой ранки хлестала кровь. Энергии это, правда, у исследователей не поубавило.

Интерес Сент-Экзюпери к механике, похоже, стал пробуждаться в очень раннем возрасте. Учительница музыки Анна-Мари Понсе вспоминает его прирожденным изобретателем, очарованным котлами и поршнями. Он мог часами рисовать схемы воображаемых двигателей, затем допекал кюре, который когда-то преподавал математику, пытаясь выяснить его мнение. Еще ребенком он, соединив провода и коробки, соорудил для себя простейший телефон. Но больше всего Антуан гордился еще одним своим «изобретением» – летающей машиной. Он натянул пару старых простыней на рамки из бамбуковых палок, соединил их вместе и приделал к раме от велосипеда. Изобретение тщательно скрывали от взрослых, детей же, которые должны были засвидетельствовать драматический момент разбега и взлета на липовой аллее, переполняло любопытство, а не сознание важности происходящего. Антуан долго яростно крутил педалями, но, чтобы оторвать покрывки от земли, необходимо было сначала построить наклонный скат.

Сказать точно, когда именно юный Антуан впервые проявил активный интерес к аэропланам, невозможно. Двадцать лет экспериментирования с безлошадными экипажами в конце концов привели к появлению автомобиля, и в 1905 году аэроплан был уже не за горами. Бензин взял верх над паром, снабдив человека тем, чего были лишены Дедал и Леонардо да Винчи. Затем последовала бурная эра самых немыслимых экспериментов, вызывавшая головокружение от успехов, когда в какой-то момент казалось, словно в мире нет ничего невозможного. «Бесчисленное множество экспериментов, – читаем мы у Габриэля Вуазана, одного из ученых-изобретателей, наводнивших мир той поры, – вело к разработке и даже постройке самых разнообразных аппаратов, совершенно неспособных летать».

Один из таких экспериментаторов, чокнутый гений по имени Флоренси, настоял, чтобы Вуазан построил для него двигатель, соединенный пистонным клапаном с парой машущих крыльев. Даже Луи Блерию, впоследствии вошедший в историю авиации, потерял много драгоценного времени, работая над аппаратом с хлопающими крыльями, который он назвал «orthoptere» (к этому семейству принадлежат кузнечики grass-hoppers). Некоторые проекты требовали двух, трех, а то и четырех крыльев. Октав Шанут, которого можно назвать кем угодно, только не тронутым, разработал проект шестикрылого планера, а затем и восьмикрылого «многоплана». Но вскоре и этот рекорд был побит творением (разработка Эскевилли), заслуживающим того, чтобы получить название «максиплан», поскольку обладал не менее чем двенадцатью крыльями, нанизанными на концентрические эллипсы. Многие из этих хитроумных и экзотических новоизобретенных приспособлений лишь на йоту ушли от воздушных змеев, например первые ячеистые творения Вуазана, на создание которых его вдохновили модели австралийца Лоренса Харгрейва, в свою очередь представлявшие собой реконструированные в XIX столетии образцы ранних китайских моделей. Лишь немногие оптимисты, напрягаясь и потев, надеялись подняться в воздух без моторов и пропеллеров на своих «авиетках» – новое имя для велосипедов с крыльями по бокам, которые соревновались в парке Принцессы в 1912 году и вполне могли вдохновить юного Сент-Экзюпери на испытания его собственного аэровелосипеда.

В одном мы можем быть уверены: юношеский интерес Антуана к летательным аппаратам значительно стимулировался переездом семьи в Ле-Манс в 1909 году. В июле 1908 года Вильбур Райт пересек океан и открыл мастерскую на автомобильном заводе «Леон Боле» в Ле-Мансе. Переселение этого янки-пионера стало существенным подарком для страны, которая внесла значительный вклад в развитие авиации, так же, как когда-то автомобилестроения. До сих пор некоторые французы утверждают, будто первым человеком, когда-либо оторвавшимся от земли на аппарате тяжелее воздуха, были вовсе не Вильбур или Орвиль Райт, а гениальный мечтатель и фантазер по имени Клемент Адер. Ему в октябре 1890 года фактически удалось подняться на фут или два над землей и пересечь поле на удивительной машине с крыльями, как у летучей мыши, приводимой в движение пропеллером на паровой тяге. Это заявление, скорее всего, послужит продолжением к бесконечным дебатам, хотя Адер заслуживает похвал и по другим причинам. Например, он ввел в обиход само слово «авиация» (в противовес слову «аэронавтика»), что подтверждает его пророческий интерес к птицам. Нельзя отрицать помощь, которую оказывал братьям Райт в их первооткрывательских трудах Октав Шанут, французский инженер, сотрудник железнодорожной компании «Балтимор & Огайо рейлроад». Он поддерживал важную переписку с Фердинандом Фербером, первым европейцем, оторвавшимся от земли (в мае 1905 года) на моноплане с двигателем внутреннего сгорания.

Этот ранний энтузиазм в области аэронавтики вряд ли кого-то удивлял в стране, давшей миру Жюль Верна, велосипед, черно-белую фотографию, радиий, воздушный шар Монгольфьера и аэродинамическую лабораторию, созданную на авиационном поле в Шале-Медон, близ Парижа, где полковник Шарль Ренар изобретал первые простейшие приборы для измерения толчковой силы пропеллеров и возможности поднятия тяжести поверхностей. Характерным побочным детищем его энтузиазма стал аэроклуб Франции, созданный еще до конца XIX столетия (в 1898 году) в фешенебельном здании окнами на площадь Согласия. Знаменитость этого клуба – энергичный бразилец Альберто Сантос Дюмон, возглавлявший веселую гонку своих товарищей (этакую неугомонную смесь преуспевающих промышленников и богатых спортсменов) в конструировании, наполнении газом и последующем уничтожении внушительного числа воздушных кораблей и воздушных шаров. Другой знаменитостью стал граф Жорж де Кастильон де Сент-Виктор, дядя Клода де Кастильона (одноклассника Сент-Экзюпери по колледжу Сен-Круа) и его старшего брата Рэймона де Кастильона, учившегося на два года старше. Как и большинство первых членов аэроклуба Франции, граф относился к числу пламенных *aerostiers* (экзотическое название, выдуманное тогда же для изменяющих облака эмуляторов). Среди своих исследований он мог назвать несколько вояжей в стратосфере, в том числе те, когда аэростат доставил его в Киев, и другой, когда продырявленный аэростат упал где-то посередине Средиземного моря, из вод которого его своевременно выудило судно сопровождения.

С упрямством, свойственным любому страстному увлечению, *aerostiers* не могли заставить себя поверить ни в то, что воздухоплавательного новичка могло ждать будущее, ни вовремя поприветствовать этого выскочку – аппарат тяжелее, чем воздух. Их чувства разделяли юные члены локального аэроклуба, созданного пансионерами колледжа Сен-Круа в подражание парижскому. Его основал Роже де Леж, мать которого являлась наследницей большого состояния в Бразилии. Это позволяло юному школяру мечтать о том дне, когда и он, совсем как Сантос Дюмон, начнет пилотировать воздушные шары и аэростаты. В сущности, все еще не оперившиеся птенцы клуба считали, что будущее воздухоплавания принадлежит дирижаблям и аэростатам. Хотя существовало исключение – мальчик Ронсин, посвящавший все свое свободное время конструированию хитроумного устройства с крыльями, как у летучей мыши, явно вдохновленный творениями Адера. Хотя Антуан де Сент-Экзюпери и знал о существовании такого клуба в стенах колледжа, он туда не вступил. Во-первых, Антуан был на два-три года моложе основателя клуба, к тому же (и это значительно важнее, по воспоминаниям

Рэймона де Кастильона) «этому препятствовало то, что он не принадлежал к числу пансионеров», живших в интернате. Возможно, сожалеть об этом не приходится, и даже наоборот, ведь в дальнейшем интересы юного Антуана оказались сосредоточены на менее модном, но более перспективном направлении. Антуан относился к числу приходящих учащихся колледжа, и на него не распространялось железное правило, запрещавшее обитателям пансиона иезуитского колледжа читать газеты. Его энтузиазм впервые расцвел в 1909 году, скорее после, нежели до эпохальной демонстрации полета Вильбура Райта в Ле-Мансе, и, без сомнения, облегчил ему возможность определиться с его привязанностью и присягнуть аппаратам тяжелее воздуха.

В аэроклубе Франции основным защитником этих аппаратов выступал Эрнест Архидиакон, преуспевающий торговец, когда-то поспособствовавший «Серполле» запустить в производство автомобили, приводимые в движение паровым двигателем. Информация, которую Октав Шанут переслал ему из Соединенных Штатов об аппаратах братьев Райт, пробудила его интерес. В распоряжении Архидиакона находился планер, построенный в Шале-Медон аж в 1903 году. Но, ощущая себя слишком старым для пилотирования, он передал это дело двадцатитрехлетнему мастеру на все руки по имени Габриэль Вуазан, накопившему значительный опыт, летая на своих планерах «харгрейв» в долине реки Соны.

С того момента (пусть братья Райт, вероятнее всего, этого даже не почувствовали) и французы приняли участие в гонке. В марте 1905 года Эрнест Архидиакон вел свою машину через поле в Исси-ле-Мулино (южные предместья Парижа), буксируя планер, созданный Вуазаном. Когда автомобиль набрал скорость, планер подскочил в воздух на высоту 30 футов, подняв мешок с гравием весом 100 либер, помещенный в центр для балласта.

Планер не выдержал испытания сильным толчком вверх, хвост оторвался от крыльев, и вся конструкция с треском рухнула наземь. Архидиакон благоразумно решил проводить последующие испытания на Сене. И в июне того же года вуазановский планер «харгрейв», разгоняемый катером с мотором в 28 лошадиных сил, воспарил на высоту 40 футов и пролетел расстояние в 600 ярдов. Так навсегда и всем было доказано существование необычайной подъемной силы, которой обладали немного наклоненные плоскости, если они приобретали определенную скорость. В тот день Сантос Дюмон, наблюдавший за происходящим с берега реки, отказался от дирижаблей и переориентировал свой спортивный интерес на аэропланы. Луи Блерио, друг-гой зритель, разместил у Вуазана заказ на модель такой же ячеистой конструкции.

Несколько месяцев спустя уже полдюжины французских конструкторов работали в этой области. В любое мгновение один, казалось бы, незначительный штрих мог позволить кому-то из них достичь желаемого и завоевать награду, предназначенную Архидиакону (50 тысяч франков или 10 тысяч долларов). Этого добьется первый, кто пролетит на аппарате тяжелее воздуха по замкнутому кругу длиной в один километр. Сантос Дюмон, первым поднявшийся в воздух (в ноябре 1906 года), привел в трепет шикарную толпу в парке Багатель в Булонском лесу, преодолев расстояние в 220 метров на высоте примерно в 12 – 15 футов, но ткнулся носом в землю. Проблема приземления, это становилось ясно, оказалась столь же важной, как и вопрос взлета. Отказавшись от поплавков, слишком уж бороздивших воду, Габриэль Вуазан, впервые в истории авиации, снабдил свою новую модель колесами. И в марте 1907 года его брат Шарль сначала успешно поднял в воздух, а затем приземлил странного вида ячеистое создание после короткого полета на расстояние в 80 ярдов. Следующей осенью другое творение Вуазана – биплан, снабженный левассёровским мотором «Антуанетта», способным достигать 40 лошадиных сил и весившим всего 70 килограммов, преодолел 350 ярдов, а в январе 1908 года прославленный автогонщик и механик Анри Фарман пролетел на своем «Вуазане» над 550-метровым скаковым кругом на летном поле Исси-ле-Мулино минуту и 28 секунд. Вожденный приз «Deutsch-Archdeacon» был завоеван, и новая эра, эра практической авиации, началась. К тому моменту, когда Вильбур Райт поднялся в небо над Ле-Мансом летом 1908 года, он мало чему мог научить французов. Секреты набора высоты, поворотов, крена, сохранения

равновесия в воздухе, снижения и приземления перестали быть для них тайной. Оставалась одна проблема – создание моторов, достигающих больше лошадиных сил на один килограмм веса, и разработка более крепких рам для их крепления¹.

Фердинанд Фербер даже сделал Райту выговор за наличие переднего руля у его двухпропеллерной машины, что, по его словам (и вполне резонным), одинаково ненужно и опасно.

Тем не менее, первые полеты Вильбура Райта в Ле-Мансе произвели сенсацию. Слава об этом соотечественнике Томаса Эдисона пришла сюда задолго до его появления, и 8 августа толпа энтузиастов воздушных полетов собралась понаблюдать за дебютом этого пионера из штата Огайо в небе над Францией. По времени (которое тщательно фиксировал Луи Блерио) полет длился 1 минуту 15 секунд. Каждое последующее представление выполнялось значительно лучше, но выступлению не хватало блеска, поскольку этому препятствовали чересчур ограниченные размеры ипподрома «Hunaudieres», заставлявшие самолет уходить в крен для разворота каждые 12 секунд. Райт добился разрешения перевезти свою двухпропеллерную машину в военный лагерь «Auvours», на пару миль на восток, где были установлены опоры на расстоянии пяти километров, дабы определить точную дальность полетов. Леон Болле, производитель автомобилей и по совместительству президент аэроклуба департамента Сарте, сам лично перевез не имевший колес аэроплан Райта (он взлетал на деревянных полозьях по специальному желобу) на новое поле, где 3 сентября Райт взмыл на своей машине на 11 минут. Тремя днями позже скульптор Леон Делагранж над летным полем Исси-ле-Мулино пролетал на своем «вуазане» уже почти полчаса, но уже менее чем через неделю и его рекорд был побит Орвилем Райтом, находившемся в небе 57 минут во время демонстрационного полета, организованного, дабы произвести впечатление на войска связи Соединенных Штатов в Форт-Майрс. Не желая дать себя превзойти, Вильбур Райт побил рекорд своего младшего брата уже через одиннадцать дней (21 сентября), оставаясь в воздухе беспрецедентные час и 31 минуту. Этот полет, свидетелями которого стали празднично одетые зрители (среди них были американский посол во Франции, пионер воздухоплавания Поль Тиссандье и многочисленные официальные лица), принес Вильбуру Райту Кубок Мишлена 1908 года и 20 тысяч франков (4 тысячи долларов) плюс премию в 5 тысяч франков, выделенную ему аэроклубом Франции. Этого бросившего вызов гравитации авиатора спустя пару дней чествовали и потчевали на шикарном банкете в Ле-Мансе, где также присутствовали Луи Блерио и граф Жорж де Кастильон, дядя одноклассника Сент-Экзюпери, Клода.

Хотя юному Антуану и не довелось стать свидетелем ни одного из этих ошеломляющих событий, когда год спустя он попал в Ле-Манс, в городе о них все еще говорили. Роже де Синети, кузен прекрасной Одетт, ездил туда верхом. Разряженные горожане толпой стекались к лагерю «Auvours» кто верхом, кто в экипажах. Мелькали дамские шляпки и мужские котелки. Лишь бы не пропустить одно из этих эпохальных представлений! «Лошадь впрягли так, – вспоминал Роже, – чтобы она могла оттащить Райта в поле. Любопытнее всего было наблюдать за авиатором, который, как казалось, сидел на крыле и управлял своей немислимого вида машиной, пока та планировала над соснами и зарослями кустарника. Но самое смешное – когда элегантные господа в цилиндрах опускались на четвереньки, чтобы не пропустить момент и удостовериться, что полозья машины Райта прямо на их глазах оторвутся от земли».

Той же осенью Вильбур Райт с легкостью, приводившей всех в замешательство, побил все полетные рекорды. 10 октября он поднял с собой в воздух сенатора Поля Пэйнлеве на 1 час 9 минут полета, и это тоже явилось очередным «впервые в истории». Незадолго до Рождества он проделал 99 километров за 1 час 53 минуты, затем взобрался на рекордную высоту в 460

¹ Первые крылья изготавливались из парусной ткани, а «глайдер» – планер братьев Райт производства 1901 года – имел деревянную раму из ели и ясеня. Знаменитая «стрекоза» Сантоса Дюмона (которая появилась после аварии в парке Багатель) была сделана частью из бамбука. Полностью металлическая рама появилась у первых аэропланов лишь накануне Первой мировой войны.

футов. На этом этапе воздухоплавательной гонки американцы, похоже, добились неодолимого лидерства. И все же французы буквально дышали им в затылок, и менее чем за два года все рекорды Райта оказались сокрушенными.

Слава Райта все еще не покидала своего зенита, когда юный Антуан поступил в колледж Сен-Круа. У нас есть свидетельство Роже де Синети, что Сент-Экзюпери несколько раз отправлялся на прогулку к месту исторических полетов (теперь отмеченное монументом) в «Auvours». Его двоюродный брат Ги де Сент-Экзюпери (сын дяди Антуана – Роже), учившийся на класс старше в Сен-Круа, утверждает, будто Антуан был настолько потрясен экспериментами Вильбура Райта, что «часами пытался изобрести стабилизатор, и это, согласитесь, невероятно для десятилетнего мальчика! Его энтузиазм был неисчерпаем. Кузен обычно показывал мне свои проекты, пускаясь в долгие объяснения, ничего не говорившие мне, но очаровывавшие меня порывистой убежденностью». Скептики из аэроклуба Роже де Леж, эти Фомы неверующие, могли сколько угодно смотреть сверху вниз и воротить носы от этих «неосуществимых» замысловатых творений, но уже становилось ясно, что будущее – за аппаратами тяжелее воздуха. Автомобильный салон 1908 года в Париже уже воздал должное этому грядущему, выделив отдельную секцию «Гран Паласа» для экспозиции шестнадцати различных моделей аэропланов. Как только спустя девять месяцев Луи Блерио благополучно пересек Ла-Манш, и авиатору, и его самолету (со сложенными крыльями) было предложено прошеествовать вверх по авеню Опера буквально с королевскими почестями, после чего выдавшую виды, потрепанную бурями машину доставили в Национальную консерваторию искусств и ремесел, этот Пантеон французского технического гения, дабы сберечь в назадание потомкам. Тем же летом 1909 года 150 тысяч энтузиастов отправились на «Неделю Шампани» – воздушное ралли, организованное недалеко от города Реймс, и подбадривали себя хриплыми возгласами вперемежку с оглушающей какофонией свистулек, велосипедных звонков и автомобильных рожков, наблюдая за тем, как Анри Фарман обставлял Полхама и Латхама, пролетев 180 километров без посадки. Даже триумф Глена Куртиса, завоевавшего кубок «Гордон Беннет» (последний подобного рода трофеев, полученный американцами на много лет вперед), оказался бессилем противостоять всплеску интереса публики, достигшего своего пика на авиационном празднике в октябре, когда поезда больше не справлялись с наплывом неистовых любителей, а все пребывающая толпа едва не линчевала машинистов и кондукторов.

Нетрудно представить, какой юношеский пыл могли вызывать у Антуана де Сент-Экзюпери подвиги авиаторов. Самые необузданные фантазии Жюль Верна начинали реализовываться и даже в некотором отношении превосходили его выдумки. Клод де Кастильон вспоминает, как Антуан в школе проводил немало часов за «научными изысканиями, связанными с расчетом характеристик крыла по подъему веса», в то время, когда ему, несомненно, следовало сконцентрироваться на более «серьезных» предметах. Первый и единственный выпуск журнала «Эхо третьего», осуществленный им в 1913 году, появился с эффектной обложкой, изображающей светящийся аэроплан, прорывающийся сквозь темноту ночи. Одетт де Синети, если на нее не обрушивался град поэтических декламаций, приходилось выслушивать восторженные хвалебные панегирики во славу аэроплана. А когда Антуан появился в Вилла-Сен-Жан в ноябре 1915 года и уселся рядом с Шарлем Саллем, его первыми словами были: «Я поднялся в аэроплан! Вы даже не представляете впечатления. Потрясающе!»

Это произошло во время летних каникул 1912 года. В нескольких милях к востоку от Сен-Морис-де-Реманс открылось небольшое летное поле на равнинной бесплодной пустоши у подножия лесистых холмов, окружающих Амберье. Оседлав свой велосипед, Антуан, как правило, направлялся по пыльной тропинке мимо стога сена и клевера и стремительно вырывался на поле, где уже начали появляться первые ангары для самолетов, напоминавшие палатки.

Там он часами наблюдал за механиками, колдующими над моторами, и начинающими пилотами, которых обучал азбуке полетов лионец по имени Морис Кольё. Однажды

к ним присоединился темноволосый спортсмен с густыми бровями и ухарски закрученными усами, который по моде чемпионов той поры носил задом наперед клетчатую шапочку для гольфа так, чтобы козырек прикрывал высокий ворот его свитера. В прошлом механик, Жюль Ведрин в одночасье стал национальным героем, достигшим славы, не меньшей, нежели «Veumont» (победитель первых состязаний «Бук-Рим» 1911 года) и Ролан Гарро. В мае 1911 года он оказался единственным пилотом, благополучно завершившим первые и, возможно, самые изнурительные из когда-либо проводимых состязаний между Парижем и Мадридом, оказавшихся роковыми для французского военного министра и чуть не стоивших жизни Гарро. Ведрин закрепил свой успех, установив в декабре новый мировой рекорд по скорости. В полете на моноплане «депердюссен» он достиг скорости 167 километров в час. Для юного Антуана, которому только-только исполнилось двенадцать, этот энергичный завоеватель призов должен был казаться полубогом. Но мальчик набрался смелости и приблизился к нему. И небожитель, пораженный интересом, сияющим ярким блеском в глазах мальчугана, посадил его в кабину позади себя. Еще несколько мгновений – и они оказались в воздухе, жужжа над удлиняющимися тенями тополей и пшеничными снопами и загонами для скота, в золотых лучах заходящего солнца.

Это событие настолько глубоко взволновало Сент-Экзюпери, что он сочинил стихотворение. Скорее всего, оно предназначалось аббату Марготта для публикации в летнем каникулярном издании, которое он обычно составлял о своих коллегах по Сен-Круа. Но, как и злополучный журнал, оно пропало. Остались только три строфы:

И вечер овевал дыханьем трепет крыл,
И мерный ритм баюкал душу, усыплял, манил,
И пальцами прозрачными светило нас касалось...

Три хрупких столпа на месте руин исчезнувшего храма. Вряд ли это был образчик высокой поэзии, но строчки о «песне мотора... убаюкивающей спящую душу» уже обнаруживают чувство мистического восторга, охватывающего его каждый раз, когда Антуан забирался в кабину самолета.

* * *

Первая мировая война, как и множество военных конфликтов до и после нее, послужила колоссальным стимулом для развития технологии, и не в последнюю очередь в новой области – авиации. В 1913 году братья Сегуин выступили с новой версией увеличенной мощности их знаменитого мотора «гном», названным так из-за своей поразительной компактности, а год спустя, буквально перед самым началом военных действий, Клерже и Салмсон выпустили двигатель для аэропланов, способный развивать мощность в 200 лошадиных сил. Большинство двигателей для аэропланов, выпускаемых до этого, обладали мощностью от 50 до 70 лошадиных сил. Существовало общепринятое мнение, что, как только эти новые «гиганты» появятся, они своей вибрацией разрушат корпус любого аэроплана, на который их решатся установить. Для этих мрачных опасений существовала некоторая почва. Так, легкий «гном», крепившийся подвижно и вращающийся вместе с пропеллером вокруг жестко зафиксированного вала, время от времени «шел вразнос», уходя в самостоятельный полет вместе с лопастями пропеллера, вызывая понятный ужас у пилота. Если летчику и удавалось увернуться от удара, то он внезапно для себя оказывался за рычагами управления уже не самолета, а планера. Но существовавшие на заре самолетостроения сомнения были решительно опрокинуты в пользу тяжелых моторов. И еще до окончания войны и «Мерседес», и «Испано Суиза» начали производить двигатели, достигающие мощности в 200 и более лошадиных сил. Братья Сегуин и Луи Рено

создали двигатели на 300 лошадиных сил. А яркий и колоритный изобретатель Эттор Бугатти (оказавший в свое время помощь Ролану Гарро в создании первого в мире пулемета, стреляющего через винт) экспериментировал со спариванием двух 8-цилиндровых двигателей – монстром в 16 цилиндров, способным развивать мощность в 400 лошадиных сил.

Так еще раз было доказано, что необходимость – родная мать изобретательности. И к 1914 году трудолюбивые и усердные немцы, занятые преодолением рекорда Ролана Гарро по высоте полета, поднялись сначала до отметки 23 тысячи, затем 24 тысячи футов и сохраняли превосходство над французами и британцами. Они вступили в войну, разместив на линии фронта 251 аэроплан по сравнению с 63 аэропланами британской армии и 156 – французской. И если союзникам все же удалось сохранить свое присутствие в воздухе и их не смели немцы в первые же месяцы военных действий, то только благодаря искусству Адольфа Пегуда, которого можно считать отцом воздушной акробатики. Только в 1917 году французский инженер по имени Бешро, работавший в «Societe de Production Aeronautique de la Defense» (сокращенно SPAD), добился успеха в создании биплана, способного развивать скорость свыше 200 километров в час. Невероятная скорость для тех дней. Немцам удалось приблизиться к этому достижению лишь через год, с появлением «Фоккер D VII». Но даже тогда ореол славы, обволакивающий таких асов, как Жорж Гинеме и Рене Фонк, во многом достигался лишь благодаря их виртуозному мастерству и как пилотов, и как стрелков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.